

ИВАН ЗОРИН

**СЕКТА
ПРАВДЫ**

Рассказы

Москва
Издательский дом
«Пегас»
2011

УДК 821.161.1-32
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44
З-86

Зорин И.

З-86 Секта Правды: Рассказы. — М.: ИД «Пегас» : ИД «Ваш полиграфический партнёр», 2011. — 294 с.

ISBN - 978-5-4253-0056-0

Размышления о добре и зле, жизни и смерти, человеке и Боге.
Фантазии и реальность, вечные сюжеты в меняющихся декорациях.

УДК 821.161.1-32
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44

На обложке: Иероним Босх, «Фокусник»

ISBN - 978-5-4253-0056-0

© Зорин Иван, 2011

ПРЕДИСЛОВИЕ

В середине четырнадцатого века француз из Меца возродил античное искусство постройки метательных машин. Он вновь изобрёл баллисты и катапульты, а в дверь стучалась эпоха огнестрельного оружия.

Герои этой книги не перешагнули рубежа тысячелетий. Они по-прежнему ищут ответы в печатных словах, забывая, что истины, забальзамированные азбукой, — азбучные.

«Наблюдая вечность, забываешь о календаре», — признавался один из них.

«Глядя в бездну, забываешь о ступенях», — согласился я.

И взял эти слова эпитафией.

ВЕЧНАЯ ПЕСНЬ

*М*ои предки были неграмотны, но одним ударом рубили ногу коню, а бичом перебивали ему хребет. Головами, которые они отсекали, можно запрудить реку, а мятежниками, которых распяли, обнести границы Империи. Они не были любопытны, но вопросами могли свести с ума пифию, а ответами — запутать Богов.

Я, Тит Адриан Клодий, помощник претора, продолжаю их ремесло. Мною пугают детей, и мужчины, увидев меня во сне, вздрагивают. Я знаю, что меня ненавидят, я повсюду, как на иголки, натыкаюсь на косые взгляды и молчаливые проклятия. Пустяки, лишь бы боялись!

Из услышанного мною можно составить дюжину книг. В неясном дрожании факелов писец выводит признания — я умею развязать язык, прежде чем его вырвать. Бледный от сырости каземата, он кутается в широкий плащ, скорчившись на камне так, что у него затекает шея, но дощечку с коленей не отпускает. Я умело расставляю силки из слов, а он следит, когда в них попадётся птица. «Раньше было другое!» — звенит он колокольчиком, поднося мне свои протоколы. У букв мёртвая хватка! Когда-то помощник вздрагивал при треске костей, его руки дрожали, а палочка валилась из пальцев, как птенец из гнезда. Теперь он смеётся, точно мальчишка. Впрочем, арестованные платят той же монетой. Помню, как сломленный дыбой заговорщик с синими, словно у мертвеца, губами пробормотал сквозь

запёкшуюся кровь: «Наклонись, я шепну тебе имена соборников...» А когда я приблизил лицо, воткнул мне в глаз палец. После он выл от боли, умоляя его прикончить, и в сравнении с его муками танталовы казались блаженством. Но разве его жизнь стоила моего увечья?

В молодости мой помощник изучал философию. Он гордится тем, что плавал в Грецию, где постиг логику, которой не хватает у нас. «Как можно изучать то, чего нет?» — удивляюсь я. Мой отец вышел из таверны, где всю ночь разбавлял воду вином, но его голова оставалась ясной. В ней роились мысли о врагах цезаря, которые повсюду точат ножи. На улице его раб шарахнулся, вместе с тенью от факела, а отца затоптал конь. Им правил городской квестор. Я вызывал его в суд, беря в свидетели небо, но адвокат захлёбывался слюной, и квестору всё сошло с рук.

Моя сестра была весталкой. Ей поклонялись, как богине, целуя её следы и молясь её косам. Сорвав белое покрывало, её закопали заживо, когда она нарушила обет целомудрия. А в её позоре был виноват трибун, бойкий красnobай, говорливый, как трещотка. Он встал под защиту сената, и опять я, бессильный, кусал локти.

После случившегося я стал ходить в лупанарий, забываясь среди гетер, и одиночество теперь кружит надо мной, как ворон.

Однако в Риме свой календарь: за июлем следует август. Когда в казначействе не досчитались бочонка талантов, подозрение пало на квестора. Как это бывает в час заката, его тень удлинилась в сторону моего подземелья. Здесь он смотрел на меня с молчаливым презрением до тех пор, пока раскалённый крюк не проткнул ему щёку. Ползая на четвереньках по каменному полу, он признался, что в ту ночь проиграл в кости больше сестерциев, чем серебра в его рудниках. Дорогой он вымещал злобу на скакуне и задавил кого-то, о ком наутро забыл.

«Улица оказалась узкой, а конь — тучным», — оправдывался он, захлёбываясь кровью, как прежде ложью.

И я не упрекал его. Ибо смерть переворачивает всё с ног на голову. «Убей врага — заведёшь друга, — говорят германцы. — Провожая на Елисейские поля, он зажжёт лучину, которой осветит путь...» И я надеюсь, что тень квестора встретит меня за Ахероном, не тая обиды.

Затем звёзды отвернулись от трибуна. Он попал под проскрипции и спустился ко мне в сопровождении ликторов, всё ещё веря в свою неприкосновенность. Эта вера покинула его вместе с мужской плотью, которую я скормил псу, — часом раньше мне сообщили, что сенат не нуждается в его откровениях. Такой болтливый, он навеки замолчал, и я не знаю, понял ли он, что сказал из того, что говорил.

Патриции и плебеи, клиенты и вольноотпущенники — все спускались ко мне, как в царство мёртвых — наверх не поднялся ни один. «У тебя, как в банях, — однажды сострил император, — все одинаковы».

Так, карая его врагов, я губил виновников своей избыточной тоски. «Богу — богово, кесарю — кесарево», — говорил иудей, сгнивший у нас за тюремной решёткой. Глазастый, как муха, он припадал к железным прутьям и повторял, что прощение — благо, называя преступниками тех, кто небесной славе предпочёл земной почёт. Перед смертью он глухо пророчествовал, будто не за горами времена, когда придётся ответить за каждую царапину. «Милосердие — удел сильных, — возразил ему писец, — а не такой мерзкой вши».

Возлежа вечером на пиру, мы топили в вине эти безумные речи, грозя гвоздями из распятий сколотить вокруг Рима забор, однако слова, как сажа, — когда дым рассеивается, остаётся пятно.

Теперь легионы теснят варваров, и римские орлы будут утверждены скоро на берегах Рейна и Евфрата. Тогда,

верит писец, наше искусство исчезнет. Но это заблуждение. Наше дело вечно, как огонь, который поддерживала в храме моя сестра.

«Поджаривая лепёшки на раскалённых клещах, писец сглотнул слюну, а после вытер о тунику жирные ладони...» — шевеля губами, водил по строчкам Тициан Андрэ Клодель, добровольный экзекутор французской Республики. Книга принадлежала аристократу, голову которого он вчера показал черни, прежде чем швырнуть в корзину. Имущество подлежало конфискации, и книга досталась палачу. «Что римляне, — думал Клодель, уперев в буквы крючковатый палец, — горстка властолюбцев, несших пороки на острие своих копий. Они заботились о величии Города, разнося по миру его заразу. “Свобода, равенство, братство!” — вот слова, ради которых мы готовы одинаково — умереть и убить. Во имя них я буду искоренять врагов народа, как чесоточных овец, во имя них стучат сегодня тысячи голов, скатываясь по ступенькам эшафотов, которые для Франции — лестница в небо!» Клодель захлопнул книгу. Зачем читать чужую исповедь, если можно написать свою? Сунув топор в чехол, он медленно зашнуровал камзол, помечая продетыми отверстиями её главы.

«У моих предков, бретонских крестьян, земли было с ноготь, зато в карманах гулял ветер. От зари до зари они гнули спины, а в голодные годы промышляли браконьерством в лесах, принадлежащих короне. Охота кормила всю семью, а кончилось тем, что за пару куропаток отца затравили борзыми королевского егеря, и он стал похож на чучело, из которого вместо соломы торчат осколки костей. Лесничий свалил его с телеги посреди нашего двора, бросив возмещением экую. Мы высыпали из избы — шмыгая носом от бесконечных простуд, долго смотрели на мерт-

веца, который ещё утром был нашим отцом, и наши щёки вспоминали его поцелуи.

Я был старшим и ушёл на заработки. В Сент-Антуанском предместье я устроился в мясную лавку, где немел от работы, как чурбан, который с утра до ночи кромсал мой топор. Однако я едва сводил концы, и дыр в карманах у меня было больше, чем мух в лавке. А через год ко мне перебралась сестра...»

Клодель криво усмехнулся.

«Судьба ко всем благосклонна, но не дай бог попасть ей под горячую руку! Однажды коровья туша сорвалась с крюка — я слёг в постель, из которой поднялся горбуном. Сверля взглядом спину, меня находят теперь на голову ниже себя, а я, засучив рукава, уравниваю в росте...»

Клодель обвёл комнату бесцветными глазами, почесал проплешину, соображая, всё ли собрал.

«А он был красив, этот аристократ, женщины от таких без ума. И знал столько, будто родился стариком. “Если у меня останутся желания после того, как ты отрубишь голову, я подмигну”, — предложил он на эшафоте. “Это ни к чему, — рассмеялся я, — мёртвые щёлкают зубами, как живые, — мне приходится каждую неделю менять искусанную корзину”. И отрезав кружева на воротнике, нагнул ему шею. Все выбирают между плахой и топором. При иных обстоятельствах я мог бы стать крёстным его ребёнка, а вместо этого, чтобы сбить спесь, нацепил ему перед смертью красный колпак».

Клодель сжал кулаки.

«У революции свой календарь: брюмер сменяет термидор. И я помню, как первая кровь с моего топора закапала на дощатый помост. Толпа рвала на части дворянина. Горланя перекошенными ртами, женщины кололи его булавками, а дети поражали из пращей. Но он оказался на редкость живуч. Убийцы уже устали, а он всё не умирал. И

постепенно, охваченные суеверным ужасом, все опустили руки, уже никто не решался добить его. Он корчился перед своим домом на досках, положенных мостками поверх булыжников от дождевых ручьёв, и обводил толпу заплывшими глазами. Раздвинув ряды, я вышел вперёд. Лицо этого человека было страшно изуродовано. Но я узнал его: это был королевский егерь...

А теперь работы непочатый край. Мой писарь строчит так, что у него затекают пальцы. На допросе слово пере-стаёт быть Богом, в каждом из слов открывается дорога на эшафот. Роялисты, жирондисты, якобинцы, санкюлоты — шли по ней мимо нас. «Мы, как святые отцы, — шутит писарь, — никому не отказываем и всех провожаем». Ходят слухи, будто он любит всё острое — пики с вздёрнутыми головами, словечки, которые при их виде вырываются у толпы, и посыпает голову перцем, а лук закусывает чесноком. Но он весёлый малый и даже яблоки ест с косточками. Его рекрутировали в армию, и, прежде чем найти тёплое место, он досыта насиделся у походных котлов, пряча ложку за голенище. От криков он поначалу затыкал уши, а потом привык — как в солдатах к барабанному бою. Когда он вспоминает, что его товарищи, помочившись на тлеющие костры, глотают пыль в шаге от смерти, — смеётся...»

Клодель покосился на книгу — после кончины человека его вещи приобретают особую значимость.

«Да, смерть всё переворачивает! Этот аристократ был так молод, и я бы мог освободить его в тюремной неразберихе. Но не стал. Он был любопытен, и всё же не узнал главного: что горничная, которую в одну из душных летних ночей он мимоходом обесчестил на постоялом дворе, была моей сестрой. Я лежал с перебитой спиной, хозяева прогнали её, и она пошла по рукам. Бедная сестра! Её пепел стучит в моё сердце: когда-то она потеряла из-за этого аристократа голову — вчера он потерял из-за неё свою».

Охлаждая камин, Клодель ворошил угли, которые вспыхивали под кочергой красными языками, отбрасывая тени то в один, то в другой угол.

«А разврат ходит по рукам, как деньги, и нет выхода из его круга, — продолжал размышлять экзекутор. — Марая невинных, к виновным он возвращается кровью! Тогда грех меняет личину, и вместе с расплатой приходят другие времена. Так люди и мечутся между казармой и борделем. Мне, Тициану Андрэ Клоделю, милее казарма. И Богу тоже. Иначе, зачем Ему устраивать Суд?»

На мгновенье Клодель замер, подняв глаза к потолку. У него навернулись слёзы, будто в разводах на извести проступил силуэт сестры, чертившей земным владыкам грозное предупреждение.

«Бог не допустил, и я остался девственником, — обратился он к ней. — “Чудовище! — шарахаются женщины, показывая на меня пальцем. — Он точит зубы о камень, как нож гильотины!” Пусть судачат, страх сильнее любви, а друзья, что тени: в солнечный день не отвяжешься, в ненастный — не найдёшь».

«Клодель сунул книгу подмышку и, поправив в зеркале перья на чёрной шляпе, вышел на улицу: дверь скрипнула, будто каркнула ворона...» — чеканил слог молодой человек с прилизанными усами. Он стоял навтыжку, держа перед собой листки, по которым скользил взглядом, как метла по льду.

— Ну за-ачем ты читаешь мне эту дребедень? — откинулся на стуле Тимофей Андреевич Клодов, следовательно по особо важным делам, и его руки заматались над столом, как мухи. — За-ачем объяснять сороконожке, ка-ак она бегаёт?

Молодой человек пожал плечами.

— Это стенограмма ночной смены, — протянул он бумагу. — Вы же им сами велели — каждое его слово.

Следователь вскинул бровь.

— Ах, вот оно ка-ак...

За окном била метель, холодный ветер швырял в лицо снег, как прокурор — обвинения. Сделав по кабинету несколько шагов, Клодов уставился в осколок зеркала над умывальником. Косая трещина, словно шрам, разрежала надвое его опухшее от бессонницы лицо, задрав щёку на лоб.

— А может, в ночную переусердствовали? — обняв горло пальцами, молодой человек покрутил затем у виска.

Клодов развернулся, как кукла:

— Да нет, это не сума-асшествие.

Он пристально посмотрел на секретаря, точно пересчитывал пылинки на его гимнастёрке.

— Раньше где слу-ужил?

— При полевой кухне.

— Зна-ачит, перевели за чистописание, — коротко рассмеялся следователь, будто яблоко переломил.

И опять повисла тишина. Редко капал умывальник, где-то за стенкой глухо пробили часы.

— А ведь у меня с за-адержанным ста-арые счёты, — Клодов наморщил лоб, и в бороздах у него проступило прошлое. — Ещё с ги-имназии... — Достав из нагрудного кармана платок, он промокнул зальсины, словно собирался вместе с потом счистить и прошлое. — Эти истории, — ткнул он в бумаги, — вызов мне.

Стиснув скулы, он опять зашагал по комнате, будто отмерял расстояние для дуэли. На мгновенье его лицо сделалось страшно, шея вздулась, под кожей заходили желваки. Вытянувшись по струнке, секретарь посерел, как мочёное яблоко.

— У каждой исповеди есть изнанка, — остановился возле него Клодов, сузив зрачки, как змея, готовая ужалить. — И прежде чем спуститься к нему в подвал, я хочу

в его... — он опять ткнул в бумаги, подбирая слова, — э-э, басню вложить свою мораль.

Теперь он казался спокойным и почти не заикался.

— Наш подследственный был из тех, кто от рождения с судьбой на «ты», — начал он, скребя пальцами о ладонь. — Его отец владел красильнями, где работал весь город, а мой, подорвав там здоровье, кашлял от чахотки. В зимних предрассветных сумерках я тащился в гимназию мимо огромных, выше роста, сугробов, за которыми прыгали в избах лучины, и мои мысли были тяжелее ранца, когда его сани обгоняли меня, обдавая снежными брызгами, щёлканьем кнута и смехом, долго звенящим на морозе. Я помню разгорячённого водкой кучера, молодого рыжего дурня, который, равняясь, гаркал: «Посторонись!», а потом дразнил, бросая через плечо ездуку: «Не извольте беспокоиться, в аккурат доставлю!» Меня душило бешенство, но я лишь расстёгивал воротник у драного пальто. Это в рай на чужом горбу не въедешь, думал я, к земным почестям по-другому не добраться!

Учёба давалась ему легко, и пока я клевал носом от постоянного недосыпания, его тетради пестрели похвалами. Мы не были ни друзьями, ни соперниками: разве лошадь замечает метнувшуюся под копыта мышшь? Мальчишки все ранимы, и, хотя он не задирает нос, любой его жест казался мне оскорблением. На уроках математики я бился над уравнением, в котором на его долю выпало столько же счастья, сколько на мою слёз. А потом он стал уха-аживать за сестрой... — Клодов брезгливо дёрнулся, будто ему на штанину помочилась собака. — По утрам он оставлял на крыльце букеты с записками, которые я, встав пораньше, рвал вместе с розами, кровавая ладони о шипы. Для него это было мимолетное увлечение, для меня всё оборачивалось перешёптыванием соседей, их сальными намёками на оказанную честь. Однако бедность загнала нас в угол, как

крыс, отец стал похож на своё отражение в мутной луже, и, чтобы его не лишили места, приходилось закрыва-ать глаза... — Клодов постучал папиросой о портсигар и, надев мундштук, жадно закурил. — А когда отец умер, — его голос дрогнул, но он взял себя в руки, — а когда отец умер, я не выдержал: во время прогулки отпустил колкость, он дал пощёчину, и мы подрались. Он был кровь с молоком, а меня ветром качало, но злость придавала мне сил. И всё же он избил меня... — Клодов отмахнул дым, в просвете нервно заблестели глаза. — После этого все от меня от-вернулись, и я наживал врагов с той же быстротой, с какой терял друзей. Гимназия ещё открывала для меня двери, но на невинных все шишки: вскоре кто-то донёс, и меня исключили. А школьный дядька, искалеченный японским штыком, выслуживаясь, выпорол меня на прощанье, как сидорову козу. С тех пор я заикаюсь...

Секретарь боялся пошевелиться: кто слышит откровение начальника, тому не сносить головы. Он стоял с кислой миной, будто ему на усы плеснули рассолу. Но следовательно смотрел сквозь него, будто был один.

— С гимназической скамьи меня отпустили на все четыре стороны, но обида, как испорченный флюгер, развернула меня к его фамильному особняку. Это была месть, да и кусок хлеба на дереве не растёт, одним словом, я залез в дом. Вор из меня вышел никудышный, и я загремел в участок... — Клодов согнулся, точно опять взвалил тяжесть краденого. — Сейчас он выставляет меня опричником, а у самого брат — жандармский ротмистр. Он-то и спустил с меня семь шкур, прежде чем отправить по сибирскому тракту. И пока я звенел кандалами, пухнув на хлебе с водой, мой обидчик читал дамам стихи про ананасы в шампанском... — Стиснув челюсть, Клодов стал похож на бульдога. — Но жизнь переменчива, как правда под пыткой: все думают скользить по ней, как Иисус по водам, а спотыкаются,

будто на ступеньках в ад. У России особый календарь — за февралём приходит октябрь. Когда я вернулся, вокруг уже размахивали кумачом, жгли усадьбы и распевали про новый, прекрасный мир. На висках у меня играла седина, но ведь каждый навсегда остаётся во временах своей юности. Водоворот развёл нас, как щепки: он пошёл добровольцем в Белую Армию, я вызвался в Комиссию...

Клодов глубоко затынулся.

— «Час искупленья пробил!» — натянуто улыбаясь, вставил секретарь. — Наш колокол разбудил человечество.

Клодов поднял на него глаза, точно впервые заметил.

— Брось, — устало перебил он, — человечество уже тысячи лет просыпается не в ту сторону и встаёт не с той ноги.

Он расставил пятерни, как хищная птица, вонзившая когти в стол.

— Раз ко мне привели рыжебородого мужика, его взяли спросонья, и он, шаря по стенам осоловевшими глазами, никак не мог взять в толк, где находится. Я уже не помню, в чём его обвиняли. «Раздобрел ты на барских харчах — в райские ворота не пролезешь, — усмехнулся я, прежде чем накормить его пулями. — Однако не изволь беспокоиться, в аккурат доставлю!» И он сразу вспомнил зимние утра, сутулую фигуру на заснеженной дороге, которую так и не обогнал...

С хрустом разогнув пальцы, Клодов приподнялся, сделавшись выше макушки.

— Шли годы, и чем дальше, тем больше я понимал, что одни на «ты» со своей судьбой, другие — с чужой. Когда я отбывал каторгу, мой обидчик женился, взяв девушку из своего круга. У него родилась дочь, которой я мог стать дядей, и он думал, что живёт в раю, будучи в двух шагах от ада. А сестра скончалась у меня на руках. В тифозном бараке, бритая наголо, она стала страшнее собственного

скелета, но бредила, будто тайно обвенчалась с ним, когда он привозил ей охапки роз... А теперь он решил сделать из меня великого инквизитора, рассказывает так — комар носа не подточит! Только меня не проймёшь — шлёпнул отца, расстреляю и сына!

Клодов смотрел на снежинки, точно считал, сколько прошло через его руки. Он припомнил оскаленное лицо жандармского ротмистра, молящие глаза школьного дядьки, искалеченного японским штыком.

— А головы всегда летят, — открестился он от убитых, — и голова Олоферна лежит на одном подносе с головою Предтечи.

Сложив ногти, секретарь стучал ими по зубам, будто ковырял зубочисткой. День, серый, ненастный день висел за окном самоубийцей, на которого больно смотреть.

— На земле все — вурдалаки, — задёрнул шторы Клодов, — захотелось крови попить — вот и вся любовь. — Он перешёл на хриплый шепот: — Ведь и ты, небось, любишь врагов народа, когда из них жилы тянешь?

Секретарь ответил неприятной, узкой улыбкой. Клодов подошёл к умывальнику, зачерпнул шайкой из ведра.

«Сегодня арестованный сдаст нам эмигрантское подполье, но прежде полей мне, бумажная душа, — убива-ать нужно чистыми руками...» — зевнул падший ангел, листая загробный кондуит. Он расстегнул пуговицу и, нагнувшись, подставил волосатую спину. Сидевший на камне мелкий бес, вынув из-за уха гусиное перо, бросился лить воду. Сатана фыркал, как кот, точно хотел смыть прочитанную историю, но она не шла из головы, напоминая ему собственную.

— И кто же из этих двоих у нас?

— Оба, — хихикнул бес. — Пожили у Бога за пазухой — пора и честь знать!

Он раскрыл книгу, строки которой налились кровью. Сатана распрявился и, перебросив хвост через плечо, стал чертить на песке.

— Как ни крути, — задумчиво изрёк он, — а из песни слов не выкинешь.

— Попал в неё куплетом — изволь быть пропетым! — опять хихикнул бес.

На земле прокричали петухи. Шагая след в след, на неё блудным сыном возвращался день.

— Я уже подтёр имена, — угодливо завертелся бес. — Вписать новые?

ГЛАЗА

*Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло,
гадательно, тогда же лицом к лицу;
1 Кор. 13:12*

СОГЛЯДАТАЙ

Лаврентий Бурлак, прозванный Остроглазом за то, что увидел мир ещё из материнского чрева, появился на свет, когда короновали Александра Первого. Его мать была скотницей у князя Ртищева, а отец — кучером. В тот день отец пил в городе за здоровье государя и, возвращаясь в деревню, правил одной рукой. Он натягивал ею вожжи в такт ухабам и кочкам, чтобы не расплескать вина, которое подносила другая рука. Перешагнув порог, он спутал жену с кобылой и, стегая кнутом, вытолкал в холодные, тёмные сени. Из экономии там не жгли лучину, и женщина, присев на корточки, родила прямо на грязный, дощатый пол. Наутро её нашли мёртвой — прислонившись спиной к двери, она держала на коленях щедедушного младенца, которому зубами перекусила пуповину. За стеной храпел отец, а в углу скреблись мыши, которых ребёнок не слышал — он родился глухим.

Из щелей несло сыростью, ребёнок покрылся лиловыми пятнами, став похожим на лягушку, но не плакал. Всю ночь

он провёл, вперившись в темноту, его глаза расширились от ужаса и с тех пор не мигали. Через неделю веки от бездействия засочились гноем, и деревенский лекарь, смочив водкой, подрезал их ножницами. У него дрожали руки, и кожа повисла неровно, как зацепившаяся занавеска.

Кормилиц пугали эти искромсанные, кровоточащие глаза, зрачки которых, как лужа, затопили хрусталики, и они отказывались от Лаврентия. Первое время отец подносил его к козьему вымени, пока не столкнулся с гулящей девицей, у которой после выкидыша ещё не пропало молоко. Она кормила уродца сморщенной грудью, поливая лицо пьяными, бессмысленными слезами, и не знала, что его лишённые ресниц глаза видят её до корней волос. Стиснутые мягкой плотью, они не слезились, оставаясь сухими, глядели по-взрослому напряжённо и враждебно, колючие, как репей.

Три года после этого отец оставался бобылём, деля тишину с немым, как чурбан, сыном, а на четвёртом замёрз, сбившись с дороги. Его нашли только весной, когда сошли сугробы, он лежал под осиной, лицо выели волки, но его опознали по дырявому тулупу и длинному кнуту, который гнил на шее. На поминках, неловко переминаясь, крепостные, досыта вкусившие горечь жизни, пустили шапку по кругу и, собрав денег, которых едва хватало на пару буханок, откупились от иждивенца, безразлично смотревшего на них из тёмного угла.

Он видел их насквозь ещё до того, как стал понимать их поступки.

Отец Евлампий, окончив в столице семинарию, ехал в глубинку, как в гости. В кармане у него лежал похвальный аттестат и назначение на место дьяка. Скрипели сани, воображая себе провинциальное захолустье, о. Евлампий гладил пушок на губах и улыбался. Он рассчитывал прослужить до весны. А провёл в глуши долгих тридцать лет. Первое время

о. Евлампий всё ждал перевода, пожирая глазами почтовые кареты, но, получив в Домокеевке приход, смирился. Он всё чаще садился за оградой сельского кладбища, представляя свою могилку, и его вид излучал тихое довольство. Лицо у него было строгим, а сердце добрым, поэтому попадья делила с ним горести, а радости — с другими. В гробу она лежала сосредоточенная, словно созерцающая будущее, с губами, поджатыми от накопленных обид.

Она оставила мужа бездетным, и он сжалился над сиротой, определив Лаврентия в церковные служки.

Шли годы. Священник научил ребёнка читать по губам — Лаврентий видел при этом, как бьётся о нёбо розовый язык — и был счастлив от его механической, скрипучей речи, которой изъясняются глухие. Но звук оставался для Лаврентия непостижимым таинством, он видел, как возле рта в воздухе появляется уплотнение, которое, расходясь кругами, касается ушей, заставляя вибрировать перепонку. И в ответ кривились, округлялись, вытягивались губы, посылая по воздушной почте слова. А когда звонили к вечерне, колокол расцветал огромными, распускавшимися шарами, которые, поглощая пространство, один за другим исчезали за горизонтом. Взобравшись ночью на колокольню, Лаврентий благоговейно потрогал верёвку, протетую в медный язык. Он ощупал холодное, как в ноздрях у лошади, кольцо, коснулся бронзовых стенок. Подражая этим неживым вещам, он стал изо всех сил напрягать гортань, пуская в небо воздушные пузыри.

Он разбудил всю деревню, его сняли задыхавшегося от кашля, продрогшего на ветру.

Но Лаврентий был счастлив, он чувствовал себя равным богам, сотворив чудо, которое не мог оценить.

С тех пор мальчишки крутили ему у виска, а взрослые сторонились. Его считали деревенским дурачком, выходки которого приходилось терпеть из человеколюбия. Стали

замечать и другие странности. Когда Лаврентия брали в лес за грибами, он собирал их с абсолютным равнодушием, но его корзина всегда была полной. От него невозможно было спрятаться. Когда он «водил», прикрыв лицо ладонями, громко считая своим резавшим уши голосом, то ловил детей, будто зрячий слепых, вытаскивая из дупла, находя их на чердаке или за дровами. Когда у барыни закатилось обручальное кольцо, и дворня сбилась в поисках, переполошив всю деревню, Лаврентий молча вытащил его из щели в половице. Но, юродивый или блаженный, он рос изгоем. Его не любили. И он не любил. Даже о. Евлампия. Он не понимал, за что страдает, родившись калекой, не понимал, почему не похож на других, и отворачивался, когда ему говорили об искуплении грехов.

Мир видимого не содержал для Лаврентия тайн, он был ясным, как линии на ладони. С десяти шагов Бурлак мог сосчитать пятна у божьей коровки, отличал её правые ножки от левых, видел сквозь листву припавших к ветвям клещей, падавшего камнем сокола, различал капли в дожде и росинки в тумане. По отражению в облаках он видел пожар Москвы, грабивших её французов, тёмные лики икон, которые они выносили подмышками, в сытые годы наблюдал, как желудки переваривают мясо и хлеб, а в голодные — мякину и жёлуди. Ничто не ускользало от его всепроникающего взгляда. Им он раздевал донага деревенских баб, кутавшуюся в меха помещицу, снимал мундир с фельдъегеря, которого мельком увидел в санях, измерял углы в снежинках, читал за версту обрывок газеты, его беспощадные глаза снимали с мира покровы, и тот предстával неприглядным, как вывернутый наизнанку пиджак. Лаврентий замечал рытвины на гладкой коже красавиц, приходя на могилу к матери, видел, как сохнут её кости, он наблюдал, как совокупляются и тужатся в нужниках. Для него не существовало преград, его немигающий взгляд

проникал внутрь вещей, пронизывал, сверлил, сводил с ума. «Отвори глаза!» — чуя неладное, сердились мужики, проезжая мимо на телегах, и вытягивали его вожжём. Корчась от боли, он ещё долго провожал их взглядом, считая в облаках пыли гвозди лошадиных подков.

А жизнь шла своим чередом. О. Евлампий крестил, венчал, отпевал. В пост ели картофель, на масленицу — блины. Работу запивали брагой, а близнецы Трофим и Трифон, крепкие, как молот и наковальня, засучив рукава, гнули на спор подковы. В Рождественские морозы братья запирали кузню и, выйдя за околицу, задирали полушубки, показывая друг на друга пальцем, орали во всю глотку: «Посмотрите, какой урод!» Народ хохотал. Не смеялся только Лаврентий. Для него не существовало сходства, он видел лишь различия.

Лаврентий рос худым, долговязым, с бледными, впалыми щеками, постоянно сутулился, как колодезный журавль. В церковной лавке он отпускал свечи, масло для лампад, горбясь за конторкой, на глаз отмерял ладан, сливаясь в углу с собственной тенью. На него косились, как на диковинку, но его известность не шла дальше суеверного шёпота и сплетен на посиделках.

Подлинная история Лаврентия Остроглаза началась жарким июньским полуднем одна тысяча восемьсот семнадцатого года, когда у церковной ограды остановились верховые в охотничьих костюмах.

— От Самсона не уйти, — уверенно заявил Ртищев, наводя подзорную трубу.

Травили зайцев, борзые подняли огромного русака и теперь гнали его по лугу, петляя в густой траве. Было слишком далеко, Ртищев крутил окуляр, но ничего не видел.

— Ставлю на Рыжего, — с показным равнодушием бросил соседский помещик, жуя травинку.

У Ртищева мелькнуло недовольство. Но он не отступил.

— Тысячу, — небрежно кивнул он, не отрываясь от трубы. — И Самсона в придачу.

Князь Артамон Ртищев старел быстрее снаружи, чем изнутри. У него сменилось три жены, но он так и остался холостяком, верным конюшне и псарне. Он умел подрубить уши легавым и принимать жеребят, а его скакуны и гончие славились на всю губернию. Любил он похвастаться и английским ружьём с верным боем, и расшитым бисером ягдташем. Но особой его гордостью была голландская труба, линзы которой, как он уверял, шлифовал сам Спиноза. Раз в месяц Ртищев приглашал окрестных помещиков на облаву, леса тогда наполнялись криками загонщиков и лаем собак, которые задирали хвосты перед чужаками. Они метались между деревьями быстрее своих теней, а хозяева, подбадривая любимцев, сравнивали их достоинства.

«Самсон лапу сломал», — заскрежетало рядом. На бревне сидело безресничное чудовище и, расставив длинные, как у кузнечика, ноги, сплёвывало между колен. Ртищев обомлел, его усадьба насчитывала полторы тысячи душ, удержать которых в памяти мог лишь вороватый приказчик, но князь не терпел дерзости — вешая за рёбра, не спрашивал имён. «Тварь бессловесную грех наказывать, — говорил он с усмешкой, — тварь говорящую грех не наказывать». Развернув коня, он уже вскинул плеть, когда заметил скакавшего загонщика. «Беда, барин! — издали закричал тот, ломая на ходу шапку. — Самсон в мышиную нору угодил!»

В гостиной у Ртищевых висела картина, изображавшая степную грозу. Она восхищала плавностью красок, тонким переходом от пепельной земли до тёмно-синего, освещённого молнией, неба. Но живший в господском доме уже неделю Лаврентий видел грубые мазки, в нелепом хаосе громоздившиеся друг на друга. Он, как кошка, различал десятки оттенков серого цвета, разбирался в нюансах

зелёного не хуже белки, а в блеклом колорите ночи не хуже совы. Для него не существовало основных тонов, а цвет в зеркале был иным. Он видел размашистую подпись художника на обратной стороне холста, а под грунтом — тщательно замалёванный испорченный набросок. Он мог бы стать великим живописцем, но целое для Остроглаза распадалось на фрагменты, след от каждого волоска в кисти он видел отдельно, и выложенная на полу мозаика представлялась ему лишь грудой разноцветных камней.

Его навестил о. Евлампий, просил Ртищева отпустить воспитанника, но тот отказал. На другой день старик принёс накопления, встав на колени, со слезами молил о выкупе, и опять получил отказ. Вернувшись в сторожку, о. Евлампий слёг и больше не поднимался. Он лежал, разбитый ударом, и слышал, как прихожане, кормившие его с ложки, вздыхают за окном: «Ни жив, потому что безнадежен, ни мёртв, потому что не даёт себя забыть».

И тихое довольство постепенно сползло с его лица.

У Артамона Ртищева был брат Парамон, погибший в итальянскую кампанию. Быть может, поэтому он любил все парное: стены его кабинета украшала пара турецких пистолетов, в пролётку запрягал пару гнедых и даже слова выстреливал по два: «Да, можно», «Нет, нельзя», «Пошёл вон!» С Кавказа он привёз двух горцев Аслана и Бислана, которые всюду сопровождали его, сверкая кинжалами в распахнутых бурках. Вспоминая родные аулы, они часто рассуждали о чести, но Лаврентий видел их карманы, набитые краденым табаком и мелочью, которую они забирали у горничных, изменявших с ними мужьям-лакеям. Видел он, и как напрягалось их кожаное копьё с обрезанной крайней плотью, когда из покоев выходила княгиня. Он видел всё, но молчал, не подозревая, что для других это может быть тайной.

Ночами, запершись в комнате при свечах, Ртищев испытывал его способности. Ловил в кулак муху и, оторвав

лапку, спрашивал, сколько на ней волосков. А после проверял, зажимая пинцетом, совал в мелкоскоп. Или относил колоду на двадцать шагов и открывал карту. Лаврентий не ошибся ни разу. В насмешку Ртищев повернул туза рубашкой. Лаврентий угадал и тут. Князь был поражён. «Да ты, небось, и луну с оборотной стороны видишь», — утирая пот со лба, пробормотал он. В последнее время дела шли неважно. А тут ещё это дурацкое пари. И мысль, родившись сама собой, захватила его, как ночь. «Только бы отыграться, — заглушая укоры совести, повторял Ртищев. — Только отыграться...»

Лил дождь, и гости съезжались к обеду с опозданием. Лаврентий, одетый в ливрею, прислуживал за столом. Переменяя блюда, он видел, как отвратительно, кусок за куском, падает в желудки еда, как бурлит пузырями кислое вино.

— Да ведь это тот глазастый, что давеча Самсона разглядел! — узнал его соседский помещик.

— Совпадение, — беспокойно отмахнулся Ртищев. — Один раз и палка стреляет.

Все стали рассматривать Лаврентия, бесцеремонно, как лошадь на торгах.

— Однако физиономия к аппетиту не располагающая, — подвёл черту отставной полковник с орденом в петлице.

— Сирота, — пояснил Ртищев, обрывая опасный разговор. — Чем христарадничать, пусть лучше в доме.

Он заметно нервничал.

— Что ж, — понимающе согласился полковник, — с лица воду не пить, внешность — это судьба-с...

— А я, господа, в судьбу не верю, — сказал вдруг молоденький граф, приехавший в деревню на каникулы. — Всё в руках человека.

— А разве не Божьих? — переспросил Ртищев.

Он широко улыбнулся, радуясь про себя, что сменил тему.

— Вы вот всё шутите, — ковыряя стерлядь, гнул своё граф, — а возьмите меня — мечтал стать юнкером и стал, хоть маменька и были против.

Полковник подавил усмешку.

— А по-моему, мы лишь исполнители, — откинулся он на стуле. — Ну что нам отпущено? Детей плодить, да убивать себе подобных... — Он машинально протёр рукавом орден. — Роль-то у нас куцая, от сих до сих, дальше собственного носа не видим.

— Ну не скажите, — горячился граф. — Свобода воли, предопределение...

И сбившись, покраснел. Ртищев поспешил, было, его выручить, но, открыв рот, осёкся, вспомнив предстоящее ему дело.

Стало слышно звяканье вилок. В комнате рядом пробили часы с кукушкой.

— А я вот как думаю, — вступил в беседу соседский помещик. — Все мы плывём на льдинах, изо всех сил карабкаемся на их бугры, надеемся горизонты раздвинуть, а что толку — одних в море выносит, других к берегу прибывает...

Лаврентий читал по губам, но смысла не понимал. Никогда раньше он не слышал подобных речей. Зато видел, как от них волнуется в жилах кровь. Он видел шишковатую голову полковника, перхоть под седой шевелюрой, косые шрамы от турецких ятаганов и думал, что эти люди, которых он считал богами, мучаются так же, как он.

— А что, господа, — прерывая общее молчание, предложил Ртищев, — чем философствовать, не соорудить ли нам банчок?

Играли всю ночь. Пошатываясь от бессонницы, последним на рассвете уезжал молоденький граф. «Вам сегодня везло», — пробормотал он, бледный, как полотно, записывая долг на манжете. Ртищеву и впрямь отчаянно

везло. Лаврентий был всё время рядом, стряхивал с костюмов мел, подавал рюмки и огонь для сигар. Он не слышал разочарованных вскриков, зато видел звук, который плыл вниз по парадной лестнице, сворачивая за угол. Князь так и не обратился к нему за помощью, но его присутствие вселяло уверенность.

— Летом в Петербург поедем, — угощая шампанским, зевнул он, разгребая гору ассигнаций. — А оттуда в Монте-Карло...

«Не поедем», — подумал Лаврентий.

Он видел опухоль в его мозгу.

Как ни скрывал Ртищев нового камердинера, шила в мешке не утаишь.

— А где же ваш линкей*? — спросил губернский доктор, поставив князю пиявки. — Весь уезд говорит!

Ртищев смутился:

— Ходят небылицы...

Но доктор не отставал:

— А правда, что он пятак насквозь видит — и решку, и орла?

Доктор сгорал от любопытства, его пенсне чуть не выпадало из глазниц. В ответ Ртищев разводил руками, приглашая к самовару.

— Жизнь у нас скучная, — заговаривал он зубы, — вот и мерещится чёрт знает что...

Доктор вежливо поинтересовался урожаем, обещал в другой раз осмотреть княгиню, страдавшую женским недомоганием, а под занавес вдруг пустился в объяснения:

— Древние полагали, будто из глаз выходят тончайшие щупальца, которые облизывают предметы, как язык змеи, современная же медицина настаивает, что это свет проника-

* Герой греческой мифологии, отличавшийся острым зрением.

ет в глазные яблоки и, отражаясь на сетчатке, раздражает зрительные нервы. Немецкая школа вообще считает, что глаза — это вынесенные наружу кусочки мозга... — доктор промокнул платком вспотевшую лысину, разливая кипяток в блюдце. — Конечно, медицина шагнула вперёд, но отчего тогда мы ловим спиной чужой взгляд? — и, сдувая чайники, заключил: — Его в Петербург надо.

Ртищев демонстративно поднялся.

— Ну, полноте, полноте, — удержал его доктор. — Это я так, теоретически. А слышали, — добавил он, уже тронув шляпу, — мальчишка-граф застрелился, говорят, проиграл казённые...

А Ртищеву становилось всё хуже. Не помогали ни песочные ванны, ни кровопускания, которые прописывал доктор. Он уже с трудом держался в седле, а во сне всё чаще скакал верхом без коня. И чем ближе была кончина, тем чаще он видел ребёнка посреди моря жёлтых одуванчиков. Ему около пяти, у него пухлое лицо, коленки в ссадинах. «Артамо-о-н!» — сбиваясь на визг, зовёт гувернантка, но её крики делаются всё глуше. Ребёнку весело, оттого что сбежал на лужайку, он совершенно один, вокруг гудят шмели, спит солнце. И вдруг его пронзает ужасная мысль, что всё *это*, раскинувшееся вокруг, пребудет опять и опять, а он исчезнет с лица земли неведомо куда, и это случится непременно, и с этим ничего нельзя поделать! «А где же я буду, когда меня не будет, — думает ребёнок. — И где был?» От накатившего страха он не смеет шелохнуться, застыв с широко открытыми глазами. «Ах, вот вы где, Артамон! — вышла из травы гувернантка с красными пятнами на шее. — Маменька ругаются...»

А теперь Ртищеву не было страшно. Только ночами подступала невероятная грусть. Он чувствовал себя книгой, томившейся на полке в ожидании благодарного читателя. Но тот прошёл мимо, а её хватали не те. «А где было взять

тех?» — эхом взрывалось в мозгу, и мысль убегала, уличённая в бесплодии. «Спешите любить», — накрывшись простынёй, неизвестно кого наставлял Ртищев, чувствуя, что забирает с собой целый воз нерастраченной любви. Из прошлого он видел и будущее, к которому шёл по разведённому мосту.

— Видишь ли ты ад? — плакал он, прильнув к Лаврентию.

— Вижу, — крутил головой Остроглаз, косясь по сторонам.

А иногда, вздрогнув от деревянного голоса, Ртищев отталкивал слугу.

— Ты вот всё видишь, а нищий, — раздражённо язвил он. — А я, слепой, прикажу — и тебя высекут!

А оставшись один, читал Евангелие, искал утешение, но не находил, вспоминал книги про разнесчастных горемык, всюду лишних. «Это не про меня», — думал он. Но прошло двадцать лет, и он встал в их ряды. Судьба всех манит путеводной звездой, а потом бросает на половине дороги.

Во сне Ртищев видел тысячи глаз, молча наблюдавших за ним, точно индийский божок, про которого рассказывали в Париже. Ему отчего-то делалось стыдно, он пытался оправдываться, но, ещё не проснувшись, понимал, что несёт детский лепет.

Умер Артамон Ртищев, прикованный к самому себе, сосредоточившись на своей особе, как почтальон на введенной ему дорогой сумке, которую обязался доставить по назначению. Приподнявшись на локте, он дул воздух, силясь что-то произнести, но его последних слов не разобрали. И только Лаврентий прочитал по губам: «Иду к Парамону...»

После панихиды ели кутью, вспоминали заслуги покойного.

— Послужил верой и правдой царю и Отечеству, — несло то и дело с разных концов стола.

— Про империи хорошо читать, — вставил вдруг отставной полковник, захмелев на глазах, — а жить лучше в маленькой стране, вроде Дании... — Он икнул. — Там народ делает всё, кроме истории.

— Что Дания? Тюрьма! — насмешливо возразил соседский помещик. — А Россия...

И через четверть часа имя мёртвого хозяина Домокеевки забылось, утонув в бесконечном русском споре.

Ртищев обещал Лаврентию волю, но слова не сдержал. В завещании об этом не было ни строчки. Зато князь построил любимых борзых, распределив их между соседями. Продав часть имущества, вдова уехала на воды за границу, а Лаврентий Бурлак вернулся в село. Приняли его в штыки. Теперь все догадывались, что от его взгляда, прожигавшего стены, было некуда деться. Жёны отказывали мужьям, стесняясь делить кровать на троих. Его невольное соглядатайство делалось невыносимым. И тогда Лаврентия стали на ночь привязывать к кровати рядом с о. Евлампием, отворотив голову на сторону, с которой не заходили, предоставив его всевидящему оку пустоту полей и дикость лесов. А с утра отряжали в пастухи. Лаврентий за версту выглядывал волков, уводя стадо, куда Макар телят не гонял. И ни днём, ни ночью для него не было покоя. Под слоями дневного света он различал тёмные лучи, а во тьме его совиные глаза рисовали ноктюрны, в которых светляками брызгали зарницы. Он искал спасенья от внешнего мира и не находил. Даже сон не мог надеть ему чёрную повязку: Лаврентий буравил её, как прозрачное стекло. Теперь он с завистью видел сомкнутые веки и глаза, ограниченные полем зрения.

Два раза приезжал доктор, но Лаврентий только мычал, а на все уговоры раскачивался на стуле, точно невменяемый. Цокая языком, доктор осматривал о. Евлампия, назначал травяную микстуру и, ничего не добившись, уезжал

восвояси. По его навету из города приезжал и следователь. Два жандарма заполнили собой избу, пока он вёл допрос. Однако, промучившись часа два, следователь плюнул на пол и, щёлкнув каблуками, откланялся.

На этом заканчивается история Лаврентия Бурлака, прослывшего уездным чудом. При иных обстоятельствах его талант мог дать дивные всходы, но ему суждено было провести жизнь среди посредственных людей, наблюдая мелочные страсти и скудные устремления. Перед его глазами проходила череда нелепых жизней и бессмысленных смертей, на которую он взирал со злым равнодушием.

На этом заканчивается официальная история Лаврентия Остроглаза.

И начинается её сокровенная часть.

ПОВОДЫРЬ

Биография героя, которая дошла до нас в обрывках легенд и преданий, берёт свое начало задолго до его рождения.

В том месте, где нет времени, двое всадников, различных, как день и ночь, держали между собой шапку, в которую по очереди бросали кости. Светловолосый скрестил ноги на конской шее, чернявый сидел задом наперёд, болтая сандалиями, будто шёл по дороге.

— Слышал, у тебя новый подопечный? — перебирал он в ладонях игральные кубики.

Светловолосый кивнул.

— Разыграем его тело, — ухмыльнулся чернявый, метнув пару шестёрок. — Ну вот, слух — мой! «Уж не услышит он слов правды и щебетанья птиц...»

Светловолосый боролся с искушением, как стрелка с циферблатом.

— А я выбираю глаза, — виновато пробормотал он, когда брошенные его рукой кости повторили очки соперника. — И подарю ему орлиное зрение.

— Не знаю, кто из нас сделает его более несчастным, — рассмеялся чернявый, лошадь под которым втаптывала в воздух свою тень.

Чтобы многое видеть, заключает легенда, нужно быть ангелом.

И мир не принял Лаврентия Остроглаза. Мёд тёк у него по усам мимо рта, и он убеждался, что каждый человек, как цыган, носит за щекой бритву. На его сетчатке копились сцены предательства, обмана, лицемерия, картины лакейского подбострастия и барского гнева. В его глазах застыла злоба отца, презрение кормилицы, оживали последние дни Ртищева, абреки, как запертые по чуланам крысы, блудившие с горничными после похорон, плоские лица помещиков, коптивших небо по разбросанным в округе усадьбам. Он вспарывал избы, из которых не выносят сор, и видел, что люди, как побелённые надгробия, — снаружи украшены, а внутри полны мёртвых костей.

Мир не выдерживает пристального взгляда — он отворачивается и, как опытный преступник, убивает свидетелей. И Лаврентия гнали со двора кому ни лень — и милосердные прихожане, и добродушные братья-кузнецы, и присланный на место о. Евлампия священник. Даже о. Евлампий тяготился его присутствием, смущаясь неотступным взглядом своей бессильной сиделки. И каждый раз, собирая на заре стадо, Лаврентий отправлялся на поиски иного мира. Он шёл, куда глаза глядят, не разбирая дороги, и однажды набрёл на скит, темневший, как остров, вокруг которого колыхались моря «куриной слепоты». Через дубовую дверь он разглядел старика: смешно приседая, тот чесал спину о печку, и его борода мела пол. «Я давно тебя слышу, — шевелил он губами. — Не стой на пороге». А когда

Лаврентий согнулся под низким потолком, добавил: «Все идут навстречу миру, да не ведают, где разминулись». Отшельника звали Савва. Его бесполезные веки были похожи на приспущенные флаги — Савва был от рождения слеп. Зато он мог по комариному писку отличить самца от самки, различал скрип сосны от потрескивания осины, знал, шумит ли ветер в шерсти волка или лисы, и хвалился, что за версту слышит, как трутся о череп мысли. «Ты силён оком внешним, а надо — внутренним», — учил он поселившегося у него Лаврентия. И тот стал замечать, что мир заселён лишь наполовину. В нём были следствия, но не было причин, были поступки, но не было мотивов. Этот мир был, как сломанная стрела, один наконечник без оперения, и поэтому он не мог лететь, а лишь бесцельно кувырчался. «Мир — это разорванная страница, — думал Лаврентий, — чтобы прочитать её, нужно приставить утраченную часть». И стал всё чаще заглядывать в себя. В целостном мире истина была неотделима от лжи, а добро от зла. И над всем, как солнце над горами, виселось прощение.

«Зачем глаза, если видишь свет», — стал понимать Лаврентий слова Саввы.

Раз он наблюдал, как прилетевшие с небес вороны бросили вниз куски мяса, из которых восстал человек.

— Я Адам, — сказал он, пока птицы вновь расклёвывали его тело, — после грехопадения меня обрекли на вечную казнь, каждый раз, когда меня собирают, рождается человек, когда расклёвывают — умирает...

— Он врёт! — каркнул ворон, обнажая красный зев. — Берёт на себя чужие грехи, а у него своих предостаточно! Это Пилат.

— Человек умирает не от этого, — подтвердил Савва, помешивая жёлудевую похлёбку. — На одну чашу кладут его радости, на другую — печали, он умирает, когда печали перевесят.

О себе Савва не рассказывал. Но был таким старым, что казалось, будто жил всегда. «Мир висит на волоске, тот волосок на лысине, а лысина в цирюльне, — бубнил он, как ворожея, спускаясь по вылизанному ветром крыльцу.

А бывало, поучал, упёршись слепыми глазами на огонь, пожиривший поленья.

— Постятся, крестятся, церковь посещают... Только заповеди — для людей.

— А что для Бога? — затаив дыхание, спрашивал Лаврентий.

— У каждого — своё, — ворошил кочергой угли Савва. — Бог не соска — каждому в рот не сунешь.

Лаврентий видел, как от жара краснеют его руки, как, раскаляясь, железо сжигает мясо, обнажая жёлтые кости.

— Каждый сам себе крест, — продолжал Савва. — Один царь проснулся раз в хорошем настроении. «Чью преступную голову мне сегодня сохранить?» — вызвал он министра. «Свою», — ответил тот, закалывая его кинжалом. Царь думал, что распоряжается чужими головами, а оказалось, не волен над своей! — Савва на минуту умолк и, выставив палец, едва не проткнул Лаврентия. — Ему и царство было дано, чтобы узреть через него собственное ничтожество, а он не понял.

И тут Лаврентий очнулся от сна, который выучил уже наизусть. Была ночь, и луна, как узник, припадала к решётке. Он валялся, привязанный к кровати, и выл от одиночества.

Однажды утром о. Евлампий обнаружил свои руки, которые ему вечером сложили под изголовье, у себя на груди. Это было чудом. Он стал горячо молиться, благодаря Господа, что избавил его от неподвижности. И в этот момент понял, что умер. Его глаза прикрывали медяки, он лежал посреди пустой церкви, в холодном, грубо струган-

ном гробу, а в гнезде из пальцев трепетала свеча.

После смерти о. Евлампия на Лаврентия смотрели с состраданием и отвращением, как смотрят на раздавленную мышь. Пригоняя стадо, он возвращался туда, где у него никого не было. В окрестных деревнях его считали умалишённым — он слышал голоса и разговаривал сам с собой. Бродя с выпученными, как у лягушки, глазами, он стучал посохом, и его громкий, отрывистый лай далеко разносился в ночной тишине. Встречу с ним считали дурной приметой, боясь сглаза, ему, как прокажённому, повесили на шею колокольчик. «Савва, Савва! — присев на корточки посреди дороги, причитал он, обнимая колени. — Зачем ты оставил меня?»

Дни по-прежнему вили верёвки из времени, заставляя добывать хлеб в поте лица. Крестьяне хлебали щи, плели лапти и, зевая, крестили рты. На престоле уже сидел Николай, а в Домокеевку княгиня прислала нового приказчика. Герр Краузе, швабский немец, был скуп и немногословен. «Нужно много арбайтен», — вздыхал он, видя покосившиеся заборы и разорённые нивы. Его интересовали только налоги и подати, он был вдовцом и мечтал, скопив денег, вернуться на родину. В России герр Краузе чувствовал себя, как подсолнух среди сорняков — и важничал, и боялся. А чужбину терпел ради маленькой дочери, которой, ох, как скоро, понадобится приданное! Герр Краузе разбирался в горном деле, и его талантыгодились, когда в оврагах за Домокеевскими холмами нашли уголь. Стали рыть шахты, вместо вил и кос деревенским раздали кирки и лопаты, ибо приказчик твёрдо решил поправить хозяйство за счёт богатых копей. Немец расхаживал между вывороченных куч, засучив рукава, покрикивал, грозя узловатыми кулаками. Он был кряжист, страдал отложением солей, и его суставы хрустели за версту.

Остроглаз узнал в нём человека, которого расклёвывали вороны.

А столкнулись они при таких обстоятельствах. Шёл покос, мужики от зари до зари пропадали в поле, сверкая коленями, вязали снопы согнувшиеся в три погибели бабы. Гремя колокольцами по медвяной росе, Лаврентий гнал мимо стадо и тут, как из гнезда, выпал из своего времени. Его беспокойный взгляд скальпелем резал небо, на котором ангел проигрывал его слух демону в кости. «Не знаю, кто из двоих делает тебя более несчастным, — прочитал он в усмешке чернявого всадника. — Чтобы справиться с ангельским зрением, нужно быть ангелом...» Лаврентий остолбенел. Он понял, что всё предопределено, что ему уготована судьба изгоя, которую нужно искупить. От его пронизательности не укрылось, как криво подмигнул ему демон, как, поперхнувшись свистом, призвал к смирению ангел-хранитель. Он видел, как трутся о землю их тени. Но лишь бессильно сжимал кулаки и сыпал проклятия. А деревенские видели нескладную долговязую фигуру, кричавшую до хрипоты в бескрайнюю синеву. Лаврентий был страшен, задрал голову, глаза вылезали из орбит. И вдруг налетела буря. Небо сделалось с овчинку, град побил урожай, выставил окна. Слыша громовые раскаты, крестьяне катались по земле, отчаянно крестились, вспоминая про Илью пророка. Мычащие коровы разбрелись по округе. А на другой день поползли слухи, что беду накликать Лаврентий. У флигеля собралась толпа, выволокла Остроглаза на улицу и, обдавая запахом лука, потащила к приказчику. Лаврентий не понимал, за что его судят. Немец вышел на крыльцо заспанным, всю ночь он подсчитывал убытки от урагана и теперь отдыхал. «Это он видел бесов! — закричали в толпе, выталкивая Остроглаза.

Герр Краузе не вникал в местные обычаи, которые презирал.

— Чего изволите от меня хотеть? — спросил он недо-
вольно.

Толпа молчала. Они не знали или не решались ска-
зать.

— Выколи ему глаза! — вдруг заорал кто-то, и вся толпа,
точно волчья стая, подхватила: — Выколи, выколи!

Герр Краузе отшатнулся. «Варварская страна!» — по-
думал он, жестом приглашая Лаврентия в дом.

— Это правда, — усмехаясь, спросил он, когда дверь за
ними закрылась, — ты видел беса?

— Я видел небеса, — ответил Остроглаз.

— Он видел *не беса*, — громко объявил немец, пере-
ступив обратно через порог. — Ступайте арбайтен!

Но толпа точно с цепи сорвалась.

— Извелись с оканным! — голосили бабы. — В огороде
не присесть, до ветра не сбегаешь...

— Избави, кормилец, — басили мужики.

Немец опять прикрыл дверь.

— Отчего здесь так не любить друг друга? — глухо про-
бормотал он.

Не зная, на что решиться, вылил на голову ушат студё-
ной воды.

— Однако чем ты им так досадил? — обернулся он к
Лаврентию.

— Видением, — вымолвил тот.

Немец закашлялся.

— Что есть видение? — покачал он головой, наблюдая
через окно толпу.

А потом стиснул зубы, вышел, упрямо играя желваками.

— Я не нахожу на нём вины, — упёр он руки в боки.

Деревенские расходились понурые. На заднем дворе
клевал зёрна петух, в комодке, сев на варенье, выпускала
 жало полосатая оса, а в дальних покоях, видел Лаврентий,
 возилась с куклой белокурая дочь герра Краузе.

«Вот оно, счастье», — подумал Лаврентий.

Прошёл год. Лаврентий как-то сразу постарел. Он осунулся, поблек, одежда повисла на нём лохмотьями. В складках на поясе у него болтался нож. «С паршивой овцы хоть шерсти клок», — определил деревенский староста, пристроив его сторожить угольные разрезы. И он бродил ночами между безжизненных холмов, считал за тучами звёзды и выл на луну. Про него сразу забыли, отселив, точно вырезали из памяти, но при встрече улыбались, словно давнишнему знакомому, показывая, что не держат зла. Он был для них, словно хорёк, таскавший кур, а теперь затравленный в своей норе.

Лаврентий жил в аду. Однако у него был и рай. Это прошлое. Лаврентий воскрешал о. Евлампия, которого теперь любил, перед ним предстал властный Артамон Ртищев, вызывающий после смерти жалость, не видевшие ничего, кроме беспросветной нужды, уставшие от тягот родители, которых он больше не винил в своих злоключениях. И он понял, что в том царстве, куда попадут все, земная жизнь предстанет в ином свете, что её будут проживать вновь и вновь, обращая теперь внимание не на тёмные стороны, а на светлые, мимо которых пронеслись с зашоренными глазами, точно подгоняемые кнутом.

Копали без усталости, вывозя в тачках комья бурого глинозёма, сбрасывали в карьер, торопились успеть к именинам государя.

На открытие шахты прибыл губернатор, и поглазеть на него высыпала вся деревня. Губернатор казался взволнованным, произнёс длинную речь, но Лаврентий видел, как медленно стучит его сердце, разгоняя по жилам вялую кровь. Он заметил в его нагрудном кармане письмо, отрывающее в столицу, и понял, что его мысли далеко. Из церкви вынесли иконы, священник брызгал водой, бормоча: «Во имя Отца, Сына и Святого Духа». Лезло из бутылок

шампанское, вспоминали обеда покойного Ртищева, соседский помещик декламировал стихи. А растолстевший герр Краузе бойко распоряжался, подводя гостей к ивовой корзине, предлагал спуститься. Многие соглашались, точно речь шла о винном погребе. Рабочие зажигали смоляные факелы, вручали спускавшимся, которых одного за другим глотала яма. А снизу доносился смех, гуляли по коридорам между свай, освещая факелом тёмные своды, беспечно разбредались по разветвлённому лабиринту. Зажав в кулаках большие пальцы, немец расхаживал гордый, как павлин, стараясь быть на виду у губернатора. В суматохе он не заметил, как спряталась в корзине его дочь. Её хватились, когда подняли последнего из спускавшихся. Но было поздно. В этот момент с гулким эхом рухнула одна из опор. Прокатившаяся по земле дрожь передалась гостям. От смерти их отделяли минуты, и, бледные, они представляли себя погребёнными в этом каменном мешке, в мрачных, зияющих чернотой пещерах.

«Господа люди, господа люди! — раненой птицей заметался герр Краузе, хватая за рукава. — Ради всего святого!» Он стал жалким и растерянным. «Нельзя, барин, — выдавил старик, почерневший от угольной пыли, — рудничный газ...» Немец совсем обезумел. Расталкивая рабочих, он бросился к яме. Его оттащили. В отчаянии все сгрудились на краю страшного, как адская пасть, колодца, в чреве которого был замурован ребёнок. Лаврентий ясно видел девочку в боковой штольне. Прислонившись к камням, она в ужасе закрылась руками, не в силах даже заплакать, и Лаврентий узнал себя, когда в грязных сенах лежал на коленях у мёртвой матери. «Спускайте меня!» — твёрдо произнёс он, шагнув к корзине. Его огромные глаза горели огнём, словно впереди у него была тысяча жизней. Верёвка со скрипом опустила его под землю. Пахло могилой, он задышался, смрад ел глаза. Временами он двигался только на

ощупь, как крот. Но девочка, по счастью, была недалеко. Разбирая завал, Лаврентий старался её успокоить, и его голос впервые звучал ласково и нежно. Она прижалась к нему в крошечной тьме, а он отворачивался, стараясь не оцарапать небритой щекой. Но обратной дороги ей было не выдержать. Ядовитые пары продолжали скапливаться, проникая в лёгкие вместе с отравленным пылью воздухом. И тогда Лаврентий оторвал от рубахи лоскут, ударил себя ножом в предплечье. Смочив тряпку в крови, приложил к лицу девочки...

Кашель разрывал ему грудь, когда он нёс её на руках дорогой в судьбу, когда, положив в корзину, из последних сил дёрнул верёвку. Потеряв много крови, он уже не смог перелезть через ивовые прутья. Лаврентий опрокинулся на спину и застыл в позе новорождённого.

Наверху бросились растирать ребёнку виски, отец благодарил небо, которое равнодушно взирало на вздетые руки. Потрясённые чудесным спасением, плакали женщины, прижимая к юбкам босоногих детей, мужчины с благоговейным ужасом косились на иконы. Улучив момент, священник потрянул космами, и над долиной, ломая тишину, торжественно и радостно полилась «Богородица».

А со дна бездны Лаврентий Бурлак в последний раз взглянул на солнце.

Но не увидел его.

Он умирал слепым.

ОСЕННИЙ РОМАН

— *П*редставьте себе бумагу, расчерченную на миллиметры, — говорил он, нервно затягиваясь сигаретой. — В квадратном метре такой бумаги — миллион клеточек, в тысяче листов — миллиард...

Закрываясь от солнца сгибом локтя, я из вежливости слушала, не понимая, зачем все эти цифры.

— В шести таких книгах — человечество, а мы всего лишь клеточки на одной из страниц, — смяв окурочек о лавочку, он швырнул его на газон: — И все грызутся...

Глаза у него грустные, как у большой собаки, а имя редкое — Ипполит. Познакомила нас подруга, поторопившись оставить вдвоём, засемила по бульвару, и это было похоже на сводничество. Бойкое осеннее солнце пробивало сквозь густую ещё листву, слепило — чтобы взглянуть на него, мне приходилось щуриться, и я думала, что выгляжу, как монголка.

— Представьте себе эти листы, мелко изрешечённые квадратиками, — гнул своё Ипполит, — голова закружится.

Он успел рассказать, что учился на математика, но у меня голова кружилась уже от таблицы умножения.

— Так за девушками не ухаживают, — кокетничала я, опираясь на колени юбку.

Он вспыхнул, как мальчишка. И снова закурил. Какая я всё-таки гадкая — феминизм испортил.

С дерева тяжело слетел лист и лёг в свою тень, как в могилу.

— Бросьте философствовать, Ипполит, — взяла я его под руку, — пойдёте лучше гулять.

А он хорош собой. Только несовременный.

«Вот-вот, — на другой день подтвердила подруга, — рядом с ним позапрошлый век шагает, чувствуешь себя тургеневской барышней...»

После нашей встречи Ипполит зачастил к нам. Обычно он приходил с пустыми руками, смущённо улыбаясь, топтался на пороге, а в дни получек — с цветами. Он словно из кареты вылез и меня зовёт Натали.

Пили чай, играли в карты, при этом Ипполит неизменно оказывался «в дураках».

— Дон Кихот — задом наперёд, — дразнила его моя школьница-сестра.

Он делал вид, что обижается, грозил пальцем, показывал «козу».

— Ипполит, от вас голова заболит! — хлопала в ладоши сестра, хохоча до упада. — Вы — как Микки Маус.

— А это кто? — недоумённо переспрашивал он.

Телевизор его раздражал.

— Там все лгут! — горячился он, размахивая руками. — Нельзя сводить жизнь к карьере, а любовь... — и, не договорив, краснел.

— Вас никто не любит, вот вы такой и желчный, — показывала ему язык сестра.

Подозреваю, он — девственник.

Сегодня была у него. Ипполит, как воробей, забившийся под крышу, живёт в коммуналке, переделанной из чердака. Обстановка у него спартанская, по углам, как провинившиеся дети, стоят перевязанные в стопки книги, а на подоконнике чахнут кактусы. Занавесок нет, и заблудившаяся муха лениво снуёт по пыльному стеклу.

Ипполит предложил мне стул, а сам опустился на кровать, взвизгнувшую, будто кошка, которой прищемили хвост.

«Вот так и живу...» — развёл он руками, выдавив виноватую улыбку. Но было видно, что он не замечает окружающего.

Он такой умный. Даже слишком. По-моему, подруга попросту от него избавилась.

Ипполит прислонился к стене, и пружины опять заскрипели, как зубы разгневанного великана. Воображаю, как ночами он слушает их, лёжа на кровати в тапочках, когда, скрестив колени, читает все эти бесконечные талмуды.

Одеяло у него жидкое и засалено до дыр, а подушка такая тощая, что он подкладывает вниз свёрнутую тужурку.

Бедный Ипполит! Я выдержала с час, а потом уволокла его на улицу — под короткое осеннее солнце и жёлтую листву.

Сама не знаю, как оказалась в постели с N. Наверно, Фрейд прав, нами правит подсознание, оттого мы, бабы, такие дуры. Думаем бог знает чем. Спинным мозгом, наверное. А N теперь не отвяжется. Но — жамэ, как говорят французы.

Ипполит ужасно старомоден. «Вам бы ещё пенсне», — на правах избалованной девушки издевалась я. Он начинал оправдываться, размахивая руками, как ветряная мельница. Я не разбиралась во всех его теориях, но, по-моему, он хочет счастья человечеству, в которое не верит. Рядом с ним чувствуешь себя грязной и порочной. Наверно, такая и есть. Теперь понимаю подругу: «Ты мне зеркальце скажи, да всю правду доложи...»

А кому нужна правда?

N богат. До неприличия. У него дорогой дом и шофёр с лицом итальянского мафиози. Но вышколен —

лишнего слова не проронит.

Н знает, что с ним скучно, оттого водит меня по ресторанам с балаганной музыкой и сорит деньгами.

Интересно, сколько ему? «Я уже в том возрасте, — отшучивается он, — когда про возраст лучше забыть».

Что ж, седина в бороду.

Вчера ходили в гости. Ипполит понравился. Хозяйка говорит: «Рыцарь без страха и упрёка!» И без будущего. Фу, какая я всё-таки меркантильная! А тут ещё Н. Мать все уши прожужжала. Прямо бесприданница какая-то! Противно, вот возьму и выйду назло за Ипполита!

Впрочем, он не предлагает.

Сердитый, Ипполит делался смешным. «Смените гнев на милость», — картинно сложив руки, отвечивала я поклон. Или, передразнивая, вытягивала палец, произносила с деланным трагизмом: «И если ты даже в землю на три метра видишь, а себя не видишь — крот ты распоследний, котёнок слепой!» Получалось почти библейское. Но Ипполит оставался серьёзен и только лохматил волосы огромной пятернёй.

Надо же — накаркала. Ипполита прорвало. «Ты пойми, — тряс он меня за плечи, — без тебя у меня ничего нет!» Станный, мы даже не целовались, а он руки просит...

Впрочем, из нас выйдет прекрасная пара: я — дура, он — сумасшедший!

Господи, опять просидела полдня на краю ванной, пока мать не начала стучаться — считала прилипшие ко дну пухырьки. Они невозмутимы, как далай-лама. Потом смотрела в зеркало, а оттуда — чужое лицо. У меня такое бывает, перечитываешь дневник, а он — будто в переводе.

Мать говорит — депрессия.

А Н играет на сострадании. Признался, что в детстве получал множество пощёчин. Видно, от этого у него появилась привычка ощупывать лицо толстыми, как сардельки, пальцами.

Но мне его не жаль. Представляю, как в своём кругу он бьёт себя в грудь, раздуваясь, как петух: «Я сам себя сделал, слышите, сам!»

Всё утро слушала лекцию Ипполита. Мы с ним то на «ты», то на «вы».

— Как вы не понимаете, — горячился он, — сегодня либо мир растворит Америку, либо сам станет Америкой.

Мужчины все одинаковые — забивают голову бог знает чем.

— А зачем об этом думать? — улыбнулась я. — Сами же говорили про клеточки.

Он осёкся.

— Вы, наверно, и газеты читаете, — добивала я.

Не зная, куда себя деть, он стал перебирать карточки в альбоме. Я разгладила его взъерошенные волосы и, нагнувшись, поцеловала.

Ипполит большой ребёнок, и у меня бывают к нему приливы материнской нежности.

Хотя он на *целый* год старше!

Сегодня проснулась и — поняла: я люблю Ипполита! Наверно, я слишком ветренная. Хожу по комнате и целый день напеваю, как тихо помешанная: «Я люблю Ипполита, я люблю Ипполита...»

— Будь умницей, — предостерегла мать. — Я понимаю, мимолётное увлечение, такое бывает. Но если... Выброси из головы!

Уголки губ у неё опущены, как у барометра, что пред-

вещает бурю, а шея уже пошла пятнами.

— Послушай... — начала, было, я.

— Ничего слышать не хочу! — затопала она. — Я не дам тебе испортить жизнь! Я за твоего отца вышла — сама знаешь, что получилось.

— Ну и разведусь! — закричала я. — Подумаешь, трагедия!

Злые, как фурии, наговорили гадостей, а кончилось всё слезами — обнявшись, рыдали, как белуги. Затем делали вид, что ничего не произошло, но какие тайны в семье из трёх женщин — сестра стояла под дверью и, растирая мокрые щёки, тихо всхлипывала: «Ипполит такой хороший, такой хороший...»

«Вот вырастешь — отдам за него», — спряталась мать за одну из своих улыбок, которые носила, как носовые платки.

Бедная мама — две дочки на выданье!

Вечера становятся длиннее. Ипполит стоял у распахнутого окна, задирая голову к звёздам, курил, затягиваясь так крепко, что, казалось, обжигал тонкие, нервные пальцы. Долго молчали, молчать с ним — не в тягость, я листала на коленях старинную книгу, пытаюсь угадать его мысли.

«Раньше заботились о душе, теперь пекутся о здоровье», — чётко разделяя слова, подвёл он черту под молчанием.

Я начинаю уставать от его сентенций.

И зачем звездочёту жена?

Всю ночь накрапывал дождь. Капли уже холодные, мертвенные, подставила ладонь — обожглась. Что ж, пора бы — зима на носу...

А Ипполит не такой наивный. И льстивый. Говорит: «Иметь одного ребёнка, всё равно, что стоять на одной

ноге». Это — матери. Пытается склонить её на свою сторону. Мать слушает, стиснув зубы. А когда Ипполит уходит, является N и тоже подолгу говорит с ней, поддакивает, смеётся. Мать интересуется его работой. «Будущее не само по себе становится настоящим, — покручивает он лохматый ус, — превращать его в настоящее — уже тяжкая работа».

Они точно сговорились: философствуют и ухаживают не за мной, а за матерью.

Приходил отец. Запершись у матери, долго о чём-то рассказывал, жаловался на жизнь, вымаливал прощение. Но мать непреклонна: «Прощай, не прощай — прошлого не вернуть». Отец метнулся раненой птицей, неловко наматывая шарф, опуская глаза.

Он постарел, стал тенью прежнего, уверенного в себе мужчины. Не попадая в рукава, долго топтался грустной, механической куклой.

И зачем он ушёл? Счастья нигде нет.

«Уж осень оделась багрянцем». А я не могу больше ждать — так можно всю жизнь в старых девах. Ухожу к Ипполиту! Пока складывала чемодан, мать стыдила. Но, когда любишь — не стыдно. Всё мелочно, кроме любви, одна она настоящая и оттого длится века!

Ипполит ещё не знает. Представляю его удивление! Но теперь счастье не обойдёт нас стороной — мы будем любить и говорить, говорить...

Ипполит по слухам учительствует где-то в провинции, а я уже четыре года замужем за N. У меня двое детей — мальчик и девочка.

«Не грусти, — в день свадьбы успокаивала меня подруга, — осенние романы все неудачные...»

РАЗМЕРОМ С КАРТИНУ

«*Н* и одну книгу нельзя читать бесконечно, ни одну жизнь нельзя прожить дважды», — думал художник Артём Дериземля, закрашивая холст густыми, рублеными мазками. Время от времени он сплёвывал между ног, и мысли возвращали его к тому серому, промозглому дню, когда на пороге появились двое — чёрные пиджаки, одинаковые галстуки, хищно глядевшие из-под брюк остроносые ботинки.

— Прохор Захарчук, — жестом представил товарища тот, что справа.

— Захар Прохорчук, — ответил жестом левый так, что у Артёма перекосило глаза.

Нацепив на крепкие зубы улыбку, казалось одну на двоих, они пропели сладкими голосами:

— Нам что-нибудь для интерьера...

У Артёма с утра не было во рту маковой росинки, и он заломил цену.

— Не сумма, — кашлянул в кулак Прохор Захарчук.

— Смешные деньги, — хихикнул Захар Прохорчук.

И оба уже стягивали перчатки с коротких толстых пальцев, чтобы ударить по рукам. У Артёма защипало в носу, и он чихнул. Провожая гостей, он подумал, как легко его купили, всматриваясь в широкие спины, гадал, какая из них чья.

Обычно Артём приступал к заказу не раньше, чем забывал тех, на кого горбатился, и работал над картиной так долго, что краски в нижних слоях жухли, проступая, казалось, с обратной стороны холста. Он и сейчас тянул до последнего, но деваться было некуда — деньги давно потрачены, а завтра выходил срок.

Разминая затёкшую спину, Артём потянулся, хлопнул по коленям и, в три шага одолев комнату, отёрнул на окне штору. На улице проплывала щекастая луна.

«Ну, ничего, — соорстил ей рожу Артём, — я вам покажу интерьер...»

Артём Дериземля принадлежал к тем живописцам, которые передают реальность случайным расположением цветowych пятен. Они считают, что рамы, какими бы дорогими ни были, запирают картины на ключ, что порядок быстро надоедает, а вечно созерцать можно только хаос. Любая картина — это зеркало, в котором художник отражает себя, так что любая картина — автопортрет. За извилистой радугой линий Артём Дериземля помещал свои сны, фантазии, в грудившихся пятнах терялось его прошлое и проступало будущее. Вплетая в извивы краски свою судьбу, он верил, что каждый цвет является символом: красный означает силу, синий — истину, жёлтый — предательство. А если жизнь — это смешение символов, которые предстоит разгадать, значит, должен существовать и цвет, обозначающий будущее, надо только правильно развести краски.

В мастерских, где он обучался, часто вели беседы. Но Артём с детства использовал слова особым образом, вкладывая в них только ему ведомый смысл. Поэтому, когда, взгромоздившись на стул, он говорил так, что у него горели глаза и ему хотелось жить, вокруг в глухом молчании мылили верёвку, подыскивая крюк. А теперь на картине он воскресил свои слова, их двойной смысл,

запечатлел висевший в воздухе топор и косые взгляды, от которых кисло молоко.

Надо только уметь читать — честное полотно не хуже биографа. Сбоку, в тёмных тонах болотной умбры Артём поместил своего деда. От сырости у того ломило кости, и он лежал на печи, обвязанный шерстяным платком. «Короток век человеческий, — кряхтел он, — а жизнь, ох, длинна...» С годами его волосы стали цвета соли, а глаза — как ночь. И когда он щурился, в них сгущался сумрак. Дышал дед неровно, будто заполнял кроссворд: вдохами — вертикали, выдохами — горизонтالي, а когда не спал, ругал мужчин, фыркал на женщин и всех без разбору звал алёшами. «Знал алёшу... — жмурился он. — После свадьбы пять раз меняла фамилию на мужнину и всё приговаривала: “Каждая последующая хуже предыдущей...” Так что умерла под девичьей...» А кончилось тем, что дед забыл, как его зовут, и, умирая, просил позвать по имени, чтобы он смог откликнуться. И с ним сыграли злую шутку, назвав Алёшей.

Слабая память передалась и Артёму. В ресторанах он часто знакомился с женщинами и, зная свою забывчивость, записывал их имена на денежных купюрах, которыми потом расплачивался. А теперь он вспомнил их имена, телефоны, запах духов, достоинство купюр, которые оставлял на скатерти, вспомнил помятого официанта, который, мучаясь похмельем, постоянно икал: «Коньяк идёт легко — выходит трудно...» Добавив в палитру охры, Артём изобразил улыбки, которые не старели, и подумал, что он щедрее жизни, оставляющей одни морщины.

А ещё он подумал, что никому не пригодился, что забывали его также легко, как и он. «Жизнь — борьба, — бросила ему на прощанье старая знакомая, — герои в ней борются за себя, неудачники — с собой...»

Трогая похудевшую шею с проступившими жилами, Артём качал головой, и теперь ему казалось, что жизнь

всё же больше, чем борьба. «Это пыльное зеркало, — в который раз возражал он, рисуя пальцем на стекле, — и я в нём не вижу себя...»

Темперой на яичном желтке Артём рассказал и про другого своего деда. «Рулетка в пять утра — не рулетка в час ночи, — крутил тот рыжий ус. — И карты на рассвете уставшие крупье сдают иные». Дед был азартен, случалось, проигрывался в пух, но с него всё сходило как с гуся вода. «Без штанов, зато с опытом», — зевая, бросал он через плечо, вернувшись под утро. И заваливался спать. От его храпа дрожали стёкла, и Артём не мог делать уроки. А теперь он изобразил и этот храп, и рулетку, в пять утра и в час ночи, прозрачным ультрамарином нарисовал зеркало, отражавшее рыжие усы деда, и будильник, заведённый на вечер, чтобы не проспять открытие казино.

Всё это разместилось в жирных охристых пятнах, где, потягиваясь, давал советы дед:

«На мир как смотреть, таким и увидишь. Возьми хоть еду — ежедневно разогревай, добывай хлеб в поте лица — Божье наказание! А ты думай: какое счастье, что завтра опять проголодаюсь, а то паштет из гусиной печёнки уже не лезет... Эх, Артём, — гладил он внука по голове ладонью такой широкой, что в ней помещались три туза, — только дураки оставляют после себя миллионы, после умных остаются дыры в карманах...»

Сам дед старался жить так, чтобы его смерть никто не оплакивал. Он со всеми был на короткой ноге, не подпуская к себе ближе, чем на вытянутую руку, и легко влезал в долги, вылезать из которых предоставил наследникам.

Однажды дедом овладела непонятная маета, он слонялся по комнатам, не зная, куда себя деть, раскладывал пасьянс, который раньше всегда сходилась, а теперь — нет, брал за роялем несколько нот и тут же захлопывал крышку. «Надо побриться», — решил он, проведя ладонью по

щетине. Намылив щёки, он до синевы скрёб их опасной бритвой, потом насухо вытер полотенцем. Одеколон дед не пользовал, считая, что тот сушит, а кожа у него и так дублёная. Потом он долго смотрел в зеркало, не выпуская из рук полотенца, с которым не расстался и на вокзале. Там он взял билет в один конец, и больше его не видели.

А теперь у Артёма самого были виски цвета соли и глаза как ночь. И ему казалось, что за окном мелькают огоньки, что в его поезде давно не объявляют станций, а в кармане — билет в один конец.

На стене угрожающе пробили часы, путаясь, поползли кривые тени. Артём Дериземля надрезал мизинец и капнул в сурик крови.

Семьи он не завёл, потому что ему на роду было написано обвенчаться с краской. Таких зовут пустоцветами. «Это молодость гоняется за удовольствиями, а старость их избегает, — учил он своих несуществующих внуков. — Потому что, испытав удовольствие, невыносимо жить...»

Словно хищная птица, Артём вонзил грязные ногти в холст и долго смотрел, как в зарубках сочится его отчаяние.

За газетой отец курил трубку и, читая о политике, не успевал менять точку зрения. Он и сам писал статьи, а когда их публиковали, жаловался:

— Отчего так? Писал — верил, а перечитываю — стыдно...

— А это потому, что в тебе живут двое, — отзывалась мать, помешивая на огне суп, — один — глухой, который не слышит, что говорит, а другой — немой, который слышит, но сам ничего сказать не может...

Тогда Артём только зря оттопыривал уши, а когда его имя удлинилось на отчество, понял, что мать права, что и в нём тоже живут двое: слепой, который на ощупь, будто

впотьмах, водит кистью, и зрячий, который замечает все его промахи, но сам не сдает и мазка.

Из мастерских Артём на каникулы приезжал домой, продолжая под стук паровозных колёс смешивать в голове краски, ища тот единственный цвет, обозначающий будущее. А оно лежало на ладони. На перроне его встречала только мать, а отец избегал его даже в доме за резным палисадом.

«Думал, человеком станешь, — читалось в его глазах, — а ты — мазилка...»

Поначалу Артём обижался, решив, что будущее у каждого своё, а его — не имеет цвета: прислушиваясь к чужим словам, он уже махнул на себя рукой, когда однажды вдруг понял, что расхожие истины звенят как монеты, но правды в них ни на грош.

Свет из окна ложился прямоугольником на холодную мостовую. Высунувшись по пояс на улицу, Дериземля вспомнил парочку, непробиваемую, как булыжник. И зачем скупать искусство, которого недостойны? Артём пожал плечами и подумал, что прожил на свете, как в гостинице, что он везде был чужой, а свои на земле те, кто вращают её в коротких толстых пальцах.

«Ну, черти, — повернулся он к полотну, — вы у меня ещё попляшете, намалюю-ка я вас со спины, с чугунными затылками — вешайте тогда в интерьере...»

С одиночеством в молчанку не поиграешь — Артём давно разговаривал с собой.

И всю жизнь его сопровождал один и тот же сон.

Кисточкой из овечьей шерсти, которую считал золотым руном, Артём поведал и его. Будто идёт он по дороге, а впереди несут гроб. «Кого хоронят?» — спрашивает он. И не дожидаясь, кричит, поражённый страшной догадкой: «Так вот же я — живой!» — «Это тебе только кажется...» — молчат в ответ.

А потом дорога расходится, и на развилке возле заросшего мхом валуна процессию встречает оборванный нищий.

«Налево ли, направо, — ухмыляется он из ночи в ночь, — а всё равно — в ад...»

Просыпаясь, Артём долго трёт глаза, вспоминая, куда ведут все дороги, и подушка у него мокрая от слёз.

«Вот он какой — цвет будущего», — шепчет Артём.

И тут просыпается, растерянно моргая, пока не понимает, что до этого пробуждался во сне.

А прошлой ночью сон изменился. Теперь его траурную процессию встречал ворон, он стучал клювом по валуну, под которым покоился нищий, точно старался соскрести эпитафию:

Отбрали всё.

«Прошёл мимо», — нацарапал поверх неё Артём. Но прежде чем проснуться, почувствовал, как его горло сжимают короткие жадные пальцы.

Труба на крыше дырявила побледневшую луну. Но работа двигалась. Ему оставалось изобразить на картине себя, пишущим картину, на которой бы он изобразил себя, пишущим картину... «Не провалиться бы в эту бездну», — испуганно подумал Дериземля, и у него закружилась голова.

А утром к нему постучали. Никто не откликнулся, и через час дверь выломали, наполнив комнату гулким эхом. Помещение было пустым, но искать художника не стали, забрав то, за чем пришли, — стоявшую на мольберте картину.

ФРАНЦУЖЕНКА

Ресторан был просторным и уютным, из тех, что днём превращаются в забегаловки. Протянув без церемоний руку, она представилась слависткой из Сорбонны, приехавшей в столицу улучшить русский.

— Месяц знакомлюсь с Москвой, — проговорила она в нос, с лёгким акцентом.

Кокетливо отстранив мороженое, пригубила кофе и принялась пересказывать статьи путеводителя.

— Город открывается лет через десять, — привёл я слова классика.

Она рассмеялась. Некрасивое, веснушчатое лицо, крупный нос. Потом вывернула на стол сумочку и занесла классика в блокнот. На время она заговорила так, будто сдавала экзамен, боясь ошибиться и радуясь правильному ответу. Но в ней жила напористая молодость, и вскоре она опять превратилась в моего гида. Где-то среди истории кремлёвских соборов я услышал тему её диссертации: «Французская культура в современной России».

— Это то, чего нет.

Она повесила в углу рта вымученную улыбку:

— А наш культурный центр? Вы там бывали?

Я вспомнил казённый, лакированный интерьер.

— Бывал.

За окном густел вечер. Под лиловыми абажурами уже зажгли лампы, по стенам загорелись миньоны.

— Я понимаю, сейчас мало денег, — выпятила она губы, и в её облике мелькнуло что-то утиное. — Вам теперь не до Франции.

Я стал водить чайники по дну, и она неловко замолчала.

В компаниях уже пополз галдёж, поплыл табачный дым. Пиликали мобильные.

— А вы чем живёте? — спросила она, чтобы прервать паузу.

— Писатель, — и упреждая вежливое любопытство: — малоизвестный.

Она вздохнула. И тут же покраснела:

— Неизвестность избавляет от критиков.

Ну вот, из огня да в полымя!

— Критики делают писателя, как свита короля.

Разговор явно не клеился. Приличия ради поговорили о Рембо, Аполлинере, Валери. Обо всех и ни о ком. Я рекомендовал ей переводы Брюсова и добавил, что французов губит остроумие — их легко читать и столь же легко забывать. Она обиделась. Зря я это, не каждому же быть русским.

Зал заполнялся. Входящие ещё в зеркале при гардеробе исподтишка ощупывали его аквариум, чтобы скорее окупиться в деланное веселье. На свете все мармеладовы, всем некуда пойти. Я и сам цеплялся за это никчёмное заведение, за этот тягостный, пустой разговор оттого, что за дверью ждала холодная улица.

Между тем она с глухим непониманием заговорила о России. Краснели щёки, прыгал подбородок. Я рассеянно слушал её выдернутые не к месту цитаты, и меня душили слёзы. Мне хотелось рассказать, каково сидеть на собственных поминках.

— История России закончилась, — забывшись, произнёс я и развёл руками, — *это* — безвременье!

Она вздёрнула бровь:

— Вам, наверно, жаль прошлого?

Её было не сдвинуть, она смотрела на меня с тайным превосходством, унижая сочувствием, в котором сострадания было ни на грош.

Принесли сыр, маслины. Придвинув стул, не спрашивая, посадили моряка. Она брезгливо покосилась на его грубые, потресканные руки, на торчащую щетину, на то, как, не морщась, хлестал коньяк.

— Париж сделали эмигранты, — брякнул я от смущения.

— Может быть, — ответила она безразлично.

Она презирала мой вызывающий тон, мой комплекс неполноценности. Я смотрел на её сытую уверенность и почти ненавидел. Во мне вдруг проснулась злоба отвергнутого человека, которого поманили и бросили. Краем сознания я понял, почему нас боятся. Она была не виновата, но мне было всё равно. В углу мерцал телевизор, бесконечную рекламу перемежал бесконечный сериал.

— Движемся на Запад, — обиженно прохрипел я, вытянув палец, — от варварства к пошлости. Вам перевести?

Она посмотрела настороженно и уже не лезла записывать.

Загромыхала музыка. Петушиный голос стал коверкать английский. Она отвернулась к сцене.

— А ведь у нас есть и своя пошлость, — продолжал я, — хлопнуть водки и завывать, как на погосте, про матушку-Русь... — Моё юродство задело моряка, но я не обращал внимания. — Прослезиться умильно, а потом ещё налить, и тогда вдруг полезет — и неумытая, и лапотная... А в конце нос до небес: хоть и разменяли тебя пятаками, а нам всё нипочём!

Она не поняла, но посмотрела с испугом.

Начались танцы. Моряк, с хрустом обглодав яблоко, сплюнул на пол и закурил. «Да и то верно, — думал я зло, тебе край скатерти, — где все эти поля багульника,

антоновские яблоки, забившиеся по оврагам клочья тумана?»

Возле столика назойливо кружились пары, визг из динамиков резал уши. «С кем, кроме Бога, разделить одиночество?» — написал я на салфетке. «Боюсь смерти», — неожиданно просто откликнулась она. Ткнув себя пальцем, я жирно подчеркнул её признание. Но она уже отвернулась к танцующим и отстукивала ритм каблуком.

Лезло из бутылок шампанское, гудели улы сдвинутых столов.

— Культуры обогащают друг друга, — блеснула она, скрестив колени под краповой юбкой.

«Как волк и кобыла», — захотелось возразить мне, но опять вклинилась музыка, сгрудившись, затоптался кордебалет. Солист перешёл на русский, и я позавидовал её иноязычности. «А чего я жду? — проклинал я себя. — Своих мертвецов каждый таскает сам. Это у нас они под каждой берёзой, это у нас, сколько хватит глаз, покосившиеся, незамоленные кресты...»

Она извинилась, отодвинув спиной стул, вышла. Пока я провожал её нескладную фигуру, плывшую в сизом дыму, сбоку навалился моряк.

— Не надо, браток, — заметил он с пьяной пронизательностью. — Там всё проще... Тебе налить? — Он уже нависал горой, обдавая сырной пряностью. — У них и Бог вроде могилы за оградкой. Как постриженный газон.

Я махнул коньяку, накрыв рюмку пятернёй:

— А наш какой?

— Наш-то? — вздрогнул он, надкусывая лимон. — Как курган в степи. И хрен утешит... — Набывчившись, обвёл зал мутными голубыми глазами. — Только Ему виднее, как нас вести.

Ресторан закрывался. Официанты подавали счета, раскрасневшиеся девицы водили по сторонам осоловевшими глазами.

«Но если бы не было горя, — думал я, — а было бы только одно беспредельное, тучное счастье, значит, не было бы и надежды. И веры бы тоже не было, и любви...»

Она вернулась лишь на минуту, уже аккуратно причёсанная, собранная. «Надо выбросить», — кивнула на листки, и я почувствовал, как съёживается её душа. Я свернул бумагу корабликом и отправил щелчком к мусорному ведру.

Мы вышли в вестибюль. По улице босыми ногами шлёпал дождь. «Испорченный вечер», — извинился я, подавая пальто. Она не обернулась и быстро зашагала во тьму.

ИСТОРИЯ В ПЯТИ ЛИЦАХ

Н ромокнув затылок, человек с редкими усами взмахнул платком, и через мгновение всё было кончено. «Пробил час отмщения, и я излил свой гнев!» — высморкался он себе под ноги посреди гробовой тишины.

А виной всему стал

КУРЬЕР

Жизнь постоянно обманывала Галактиона Нетягу: в ней не случалось того, о чём он мечтал, не случалось и того, чего опасался. Садясь в скорый «Барнаул-Москва», он протиснулся мимо курившего в проходе плечистого мужчины и подумал, что всё позади.

Но всё только начиналось.

За окном плыла тайга, вагон с грохотом катил по рельсам, и моложавая попутчица, прикрывшись зеркальцем, красила губы. До ближайшей станции можно было пере-сказать не одну жизнь, но разговорились лишь к вечеру.

— Во всём нужен опыт, — держа ноги на чемодане, крутил рюмку Галактион. — И детей делать — тоже. Замечали, верно, что младшие братья, как в сказках, гладкими выходят, а старшие — тят-ляп, будто топором рубили?

Лицо у Галактиона было в шрамах. Казалось, они достались ему от рождения, как нос или уши. Он ткнул себя в грудь:

— Так вот я — старший.

Женщина улыбнулась.

— Шрамы украшают мужчину, — подобрала она юбку. И кокетливо отогнув мизинец, достала сигарету.

— Боевые шрамы украшают самца, — щёлкнул зажигалкой Галактион, — настоящего мужчину украшают шрамы семейные.

— Так вы женаты...

Отвернувшись к окну, она смотрела, как поезд обгоняет стаю галок.

— С возрастом, — заржал Галактион, — даже те, кто женат, разведены.

И понял, что допустил ошибку.

— Я вам паспорт не показывала, — надулась попутчица. — А выгляжу ещё моложе...

Раздавив окурок, она полезла в сумочку. От смущения Галактион закрыл глаза, а когда открыл, понял, что его ошибка была не первой. На него уставилось короткое дуло.

— Галактион Нетяга, вы арестованы, — холодно бросила женщина, сунув ему под нос бумагу. — Вот ордер.

Галактион посмотрел не мигая, и его глаза превратились в лезвия.

— Знакомясь с женщиной днём, мужчины думают о ночи, — прищурился он, — потому что ночь важнее...

Он заговаривал зубы. Тому, плечистому, который караулил в проходе. А сам выдавливал окно. Обезоруженная и придушенная, женщина неестественно прислонилась к боковой стенке, так что ему приходилось имитировать её голос. «Кому с нами не по пути — скатертью дорога!» — пропел он грудным контральто, когда стекло подалось, и в купе ворвался ветер. Прыгая с чемоданом в тайгу, Галактион увидел, как поворачивается дверная ручка.

Лютовал гнус, присесть было невозможно, и Галактион шёл, не разбирая дороги, стараясь отделить себя от погони чащобой как можно большей протяжённости. Раздвигая пистолетом густые заросли, он другой рукой крепко сжимал чемодан. Забрёзжил рассвет, впереди показалась опушка. И опять Галактион подумал, что всё позади. Сунув под голову кулак с пистолетом, он растянулся на мшистом бугре. Ему снилось, что он лежит, раскинув руки поперёк кровати, а над ним нависает волосатое чудовище, которое мокрыми лапами бьёт по воздуху. Ему в лицо летят брызги, он чувствует зловонное дыхание и, силясь проснуться, трёт глаза. А когда открыл их, кошмары перемешались — холм оказался берлогой, и огромный бурый медведь с рёвом наседавал на него.

Прежде чем потерять сознание, Галактион успел всадить обойму в оскаленную пасть.

Взошло солнце, он лежал под елью и смотрел, как с иголок тяжёлыми каплями стекает роса. Никогда раньше он не замечал этого. А теперь капли отмеряли оставшиеся ему часы. «Всё кончено...» — шептал Галактион запёкшимися от крови губами и думал, что внезапно открывшийся ему мир прекрасен.

Мёртвая туша придавила руку, которая не выпускала чемодана. С двумя миллионами, собранными с сибирских наркоторговцев.

Такую картину увидел вышедший на выстрелы

ОХОТНИК

Ермил Силантьевич Твердохлёб с двадцати шагов попал белке в глаз, хотя жаловался, что стареет. С каждым годом зверя становилось всё меньше, и он опасался, что его промысел сойдёт на нет. Последний сезон выдался особенно неудачным, и, разделывая на пне тушу, Ермил долго

колебался: взять ли медвежатину или версту за верстой тащить на себе раненого. Наконец, вытерев о шкуру нож, решил, что вернётся. Завернув лучшие куски в грязный мех, он прикопал мясо от рыси, набросал валежник и, помочившись, как волк, пометил место.

Была осень, пахло желудями, и в корневищах прела листва. От сырости у Твердохлёба разыгрался ревматизм, и он охал при каждом шаге. Но, сцепив зубы, делал следующий. Придя в себя, Галактион первым делом спросил про чемодан. Старик замялся. «Ладно, — повиснув на плечах, щекотал ухо раненый, — потом сочтёмся...»

Охотник жил на отшибе, рядом с деревенским кладбищем, куда вела калитка в завалившемся, как волна, заборе. Выходя во двор, Твердохлёб смотрел на покосившиеся кресты и часто думал, что его жизнь уместилась в пяти шагах от дома до кладбища. Но он не жалел. Так жили все вокруг. «Мы не какие-нибудь шалопутные, — курили на крыльцах самосад, — у нас где родился, там и пригодился».

Галактиона разместили в бане, и деревенские, как мухи, слетались поглазеть на него через закопчённые оконца. Бормоча заговоры, старик выхаживал его травами, приподнимая голову, вливал отвар из сушёных кореньев. И Галактион пошёл на поправку. За свою рискованную жизнь он бывал в разных передрягах и поначалу, кусая подушку, только и ждал, когда встанет на ноги. У него отобрали пистолет, но руки остались, к тому же на стене висел нож. Однако чем дольше он думал о случившемся, тем яснее видел в нём тайный смысл. Он уже был бы мертвецом, и его спасение не могло быть случайным. Галактион ломал голову, зачем Господь оставил его на свете, и приходил к одному.

— Как называется ваша деревня?

— Бережки.

Приподнявшись на локте, Галактион увидел в окне блестящую реку.

«Это мой берег», — решил он, и вся жизнь вдруг предстала ему чёрной полосой. Ворочаясь под тонким, на рыбьем меху, одеялом, он теперь ясно осознавал, что счастье не в толщине кошелька: у бережковцев нет электричества, вечерами они жгут лучины, а мысли светлые, правильные, и грехов — кот наплакал.

Твердохлёб, выбрав время, сходил за чемоданом.

— Ну зачем нам деньги? — открыл он находку в избе у старосты.

— Ты, Силантич, уже старый, — возражали ему, — а нам ещё жить...

Изба набилась народом — пришлось открыть дверь, из которой густо повалил пар.

— В тайге лимузин не купишь, — гнул своё охотник.

— Ну дык не век же здесь гнить. И потом — хоть телевизором обзаведёмся.

Галактион слушал, как делят его деньги, за которые ещё месяц назад перегрыз бы горло.

— Приобретите электрический генератор, — крикнул он из своего угла. — А я налажу антенну...

Галактиона приняли хорошо, и только сельский дурачок, показывая пальцем, бубнил, что он принесёт несчастье. В деревне его не сторожили, тайга — лучший тюремщик. А он не чувствовал себя пленником и был рад, что не гонят. Он твёрдо решил искупить прошлое, в прямом смысле отмыв грязные деньги, собранные для горстки негодяев.

Вечерами он пил с Твердохлёбом можжевельный чай и, слушая летопись Бережков, представлял неторопливую жизнь, текущую здесь уже триста лет со дня основания деревни староверами. Галактион узнал всех бережковцев

до седьмого колена, и ему казалось, что среди них лежат и его корни.

А когда охотник уходил в тайгу, с Галактионом оставалась его

ДОЧЬ

Мать у Анфисы умерла родами, и она уже двадцать лет заменяла в доме хозяйку. Вместо ожерелья Анфиса носила связки сушёных грибов и сама была, как спелая ягода. «Сколько листьев в лесу?» — спрашивали парни. И, глядя на её грудь, каждый раз забывали ответ. Она смеялась, как лесная нимфа, и плакала, как родник.

«Во всём нужен опыт, — затянул, было, свою песнь Галактион. — И детей делать тоже. Младшие братья получились лучше, а я — старший...» Но, глядя в чистые, бездонные глаза, ему впервые не захотелось врать. Галактион был подкидыш и вырос в сиротском приюте. Вместо обычной присказки он поведал о жестоких воспитателях, лупивших безо всякой вины, о том, как убежал в Москву, где беспризорничал, прежде чем выбился в люди.

— Бедный ты, бедный, — гладила ему голову Анфиса.

— И старый.

Галактиону исполнилось тридцать три.

А весной, когда по оврагам разлился цветами иван-чай, Анфиса плела душистые венки, смеялась, примеряя их Галактиону, и, пряча лицо, гадала на ромашке.

Выбор в захолустье не велик — все уже давно стали родственниками. Поэтому, когда Галактион предложил себя в зятя, Твердохлёб полез за самогоном. «Только на приданное не рассчитывай, — разлил он по стаканам мутную жидкость. — И платью невесте надо в городе справить».

В часовне, грубо сколоченной ещё первыми поселенцами, их венчал деревенский плотник, по воскресеньям

исполняющий обязанности звонаря и священника. Прогоняя грозящие напасти, окуривал молодых ладаном, а надевая кольца, упрямо сдвинул брови, так что казалось, будто они срослись.

На свадьбе гуляла вся деревня.

«Теперь ты наш! — кричали жениху бережковцы и лезли целоваться. — Сколько раз за вас мы пьём — столько и в огонь пойдём!»

Галактион сидел трезвый. Время от времени благодарил за хлеб-соль, широко улыбался, и тогда его шрамы сливались с морщинами. А улучив момент, наклонился к коротконогую старосте:

— Меня станут искать.

— Брось, властям до нас дела нет, — отмахнулся тот. — А дружки твои сунутся — так у нас ружья есть.

— Да мало ли пропало в тайге, — закусывая мочёным яблоком, поддержал старосту Твердохлёб. — Ну кто поверит, что ты жив?

Но один всё же поверил.

«Не тот парень Галактион, чтобы заблудиться в лесу!» — считал

ВОРОВСКОЙ АВТОРИТЕТ

Соломон Цыц. Он принадлежал к старой гвардии: платил наличными и не доверял телефону, предпочитая видеть горло, до которого можно дотянуться. Но теперь он впервые пожалел о том, что не пользовался банковским переводом.

«Зато знаешь, с кого спросить», — оправдывался он перед зеркалом, больно дёргая ус.

Соломон Цыц любил философствовать. «На земле всё перемешано — живое, мёртвое... Она — как Солярис... Ты слышал про Солярис? — обратился он раз к Галактиону.

Тот быстро кивнул, подумав, что у шефа “снесло крышу”. — Так вот, тонкий слой нашего обитания бурлит, как бульон. Посуди сам — каждый атом в тебе был когда-то в камне, в другом, в дереве, а после тебя воскреснет в кошке или тихом, как мышь, обывателе... — Почесав затылок, Соломон расхохотался. — Представь какого-нибудь Петра Иваныча, который через тысячу лет носит твои атомы...»

Галактион старался не шевелиться.

«А знаешь, с десяток молекул из твоего последнего вздоха попадёт к нему в лёгкие! — Сгорбленный нос навис над губами, как задремавший на козлах извозчик. — Прав Шекспир: король пойдёт на затычку для бочки... — Цыц пощипал ус. — Однако хватит болтать — где товар?»

Когда шеф смотрел вот так — пристально и не мигая, Галактиону делалось не по себе. Он стоял, затаив дыхание, представляя, скольких тот разложил на атомы.

Но Цыц не всегда был убийцей, и его тяготило это ремесло. Вечерами, развалившись на кушетке, он отматывал жизнь назад, снова и снова просматривая её плёнку, пытаясь найти тот роковой поворот, который вывел на скользкую дорожку. Он видел, что каждый шаг имел тысячи причин, и любой мог стать ошибочным. Ему казалось, что в каждое мгновение он, точно витязь на распутье, выбирает из дорог, которые ведут в тупик. И всё же искал то главное, с чего всё началось. Судьба, убедился он на сеансах своего домашнего психоанализа, это слепой, который ходит в шапке-невидимке, — шишек от неё не сосчитать, а саму нехватишь. Прошное представляло сплошной пеленой, однако Соломон погружался всё глубже. И вот однажды перед ним мелькнуло веснушчатое лицо. «Отдай пистолетик», — во весь рот ухмылялся рыжий мальчишка. У него не было передних зубов, и, выглядывая из-за женской юбки, он показывал язык,

просунув сквозь зиявшие дёсна. «Отдай, Соломоша», — ласково потребовала женщина. Соломон спрятал игрушку за спину. Нахмурившись, женщина погрозила пальцем. Соломон вспомнил, что водяной пистолет был его, что, запершись, плакал от обиды, кусая кулаки — женщина приходилась рыжему матерью.

Семён Талый был по-прежнему веснушчат, а вместо передних зубов у него блестели золотые фиксы. Соломону понадобилось немного времени, чтобы найти его. И ещё меньше, чтобы убить. Так он вынул мучившую его занозу, но всё равно был обречён — продолжал мстить миру, стремясь восстановить в нём справедливость.

— Жизнь расставляет всё по местам и всем правит, — рассуждал он как-то на воровском сходе. — Она сама по себе, а мы — сами. Вот скажите, разве можно остановить старость? — Он погладил лысину. — Нет, слепая воля толкает нас от колыбели к могиле, а мы можем только созерцать её...

— Ну ты, Шопенгауэр! — расхохотался лидер другой группировки.

И развязал кровавую бойню. Цыц не терпел, когда его ловили на плагиате.

«Настоящий философ всегда доморощенный, — говорил он. — И я горжусь, что мало учился!»

Однако в кармане у него лежал университетский диплом.

На другой день после исчезновения Галактиона Цыц собрал своих людей:

- Ищите, ищите, человек не иголка!
- Но между станциями пол тыщи вёрст...
- Возьмите карту и прочешите каждую.
- На это уйдут годы...
- Хоть десятилетия!

Оставшись один, Цыц подошёл к зеркалу.

«Я достану тебя из-под земли, Галактион, — фыркнул он, раздувая ноздри, как лошадь. — Не будь я — Соломон Цыц!»
История набирала обороты, и пятыми в неё попали

ДЕРЕВЕНСКИЕ

В каждом дворе держали кур и гнули спину на огороде. Летом мужики до зари уходили на сенокос, а бабы стряпали, относя в поле дымившиеся кастрюли. Суровыми же сибирскими зимами теснились по избам, пуская в сени скотину. И всё равно голодали: неделями ели мёрзлую картошку и, урча животами, пугали на печках блох. Отупев от бесконечной работы, свою жизнь они принимали равнодушно и покорно, как времена года.

Однако с появлением Галактиона всё переменялось. Они стали одеваться по моде и, забросив дела, всё чаще запрягали телеги.

«Сапоги прохудились, — робко оправдывались они, собираясь в город. — Да и за лекарством: вчера дети зелёные яблоки грызли — животы болят...» Деньги хранились у старосты, он выдавал их сначала под расписку, а потом — просто так. На мелочь не обращали внимания, а крупными тратами ведал Галактион. Когда в Бережках появилось электричество, он, как и обещал, на высоченном дубе установил антенну. Бережковцы готовы были проглядеть глаза: телевидение вошло в их плоть, так что многие стали рассматривать и свою жизнь, как бесконечный сериал. Хотели завести и телефон, но за пределы деревни звонить было некому, а в ней легче докричаться. Свалившиеся деньги служили бережковцам волшебной палочкой, по мановению которой строят рай. Но Галактиона не благодарили. За всю жизнь не видя больше драного тулупа, они были равнодушны к чужой собственности. Если кто-то нашёл клад, разве он не обязан делиться?

Теперь Галактиону доверяли настолько, что брали с собой в город. От бестолковых покупок он хватался за голову:

— Не швыряйтесь деньгами — нас выследят!

— Не осторожничай, — ржали ему, — к нам зимой — на санях, летом — на лошадях, а в распутицу — на вертолёте.

В этой богом забытой дыре был и свой учитель — благообразный, сухонький старичок с голубыми глазами. Школу он устроил на дому, отгородив угол цветастой занавеской, за которой показывал азбуку и, хрустя костяшками, учил счёту. Этим он занимался по утрам, а в остальное время пил.

«Народ надо держать в строгости, — говорил он теперь, насмотревшись политических передач. И задира палец, как раньше, когда учил грамоте: «В строгости, но — в любви».

И так же, как раньше, ему согласно кивали.

«Надо бы тетрадок», — щеголяя очками в роговой оправе, требовал он у старосты. А тот никому не отказывал. Денег было так много, что они не убывали. И бережковцы развернулись. Пастух уже не помнил всех коров в стаде, а женщины — обнов в сундуках. «Шальные деньги впрок не пойдут», — качали головами старики. Однако охотно носили тёплые заграничные куртки на «молниях». Крутя вечно сдвинутые, кустистые брови, плотник предложил перестроить покосившуюся часовню: приобрели бензопилу — прежний инструмент затупился, но, постучав с неделю молотками, наняли рабочих.

Твердохлёб обзавёлся дорогой винтовкой с прекрасным боем, но охоту всё откладывал. «Налазился по буеракам, — гладил он железный ствол и, сверкая оптикой, целился по горшкам. — А пушнину теперь сдавать незачем — пусть лишний соболь по тайге побегает».

Теперь все гнушались чёрной работой: женщины боль-

ше не стирали в реке, а выбрасывали в неё грязное белье, и мужчины каждый месяц форсили в новом. Однако среди молодых появились недовольные. «Всё что не сейчас — никогда, — злились они. — Кто хочет, бери свою долю и — айда отсюда!»

Но им быстро заткнули глотки.

Супруги Нетяга заняли пустовавшую хату, владельцы которой давно перебрались в город. Анфиса оказалась мастерицей вить гнездо — завела часы с кукушкой, поклеила пёстрые обои и над дверью повесила вырезанную из журнала репродукцию «Тайной вечери».

А через год Твердохлёб стал дедом. На крестинах возле новой церковки плясали под нерусские песни, лившиеся из динамика, и пили пшеничную водку — самогона уже никто не держал. Анфиса располнела. Раскрасневшись, держала Галактиона под руку, когда шли на реку кататься на лодках. Как и все, она быстро забыла о прежней жизни и не связывала свалившееся благополучие с сидевшим на вёслах мужем.

«Устроилось — и слава богу...» — гнала она мысли о расплате.

Но беда затаилась, как клещ. И через год нагрянули

ГОСТИ

Они прибыли на трёх джипах, громыхавших по единственной улице. «Как много новых вещей, — опустив стекло, жмурился Соломон Цыц. — А я люблю старые... — Ему открыли дверцу, и, выскочив на обочину, как чёрт из шкатулки, он потянулся, разминая затёкшее тело. — Вещи должны быть старыми, а мысли — новыми». Заложив руку за жилет, он внимательно рассматривал себя в боковое зеркало, пока его люди, рассыпавшись по домам, автоматами выгоняли всех на улицу.

— У меня украли деньги, — облокотившись о плетень, обвёл собравшихся взглядом Цыц. — Два года вы жили за мой счёт, целых два года вы ели, пили и сладко спали — разве это справедливо?

Принесли чемодан, Цыц пнул его ногой, посыпались пачки.

— Кто за это ответит? Ты, коротышка, говори! — ткнул он пальцем в побелевшего, как мел, старосту.

— Мы взяли совсем немного... — на ватных ногах бросился тот подбирать деньги. — Вон же сколько осталось...

От страха староста сделался ещё меньше. Цыц приклонил палец к губам.

— И это ещё полбеды, — продолжил он с грубоватой непринуждённостью. — Я бы мог простить вам пансион за мой счёт, в конце концов, кому удаётся прожить, не залезая в чужой карман? Но я не терплю предательства! — Его глаза сузились, как у змеи, готовой ужалить. — Среди вас находится человек, обманувший меня! — вынув руку из-за жилета, Цыц указал на Галактиона. — Но этот человек не только мой враг — он соблазнил и вас, а соблазненное око надо вырвать! — Цыц сделал паузу такую долгую, что можно было трижды прочитать уголовный кодекс. — Я хочу, чтобы вы судили Галактиона Нетягу и убили его... — Он смотрел пристально, не мигая. — Я мог бы действовать силой, но мне нужно правосудие... И я добыю его, не будь я — Соломон Цыц! — Он топнул ногой, подняв облачко пыли. — Выбирайте: либо я оставляю это, — он снова пнул чемодан, — в счёт судебных издержек, либо ваше имущество пойдёт за долги.

Деревенские проглотили язык.

— Будьте благоразумны, — сверлил глазами Цыц, — и вместе мы восстановим справедливость.

— Но мы не убийцы! — крикнул Твердохлёб.

Толпа зашевелилась.

— Забирай свои проклятые деньги, — донеслось из задних рядов. — За них мараться не станем!

Взгляд Цыца стал насмешливым.

— Не спешите, — хмыкнул он. — Я пока поживу у вас.

И, хлопнув дверцей, покатил к дому старосты.

Люди добры — хоть сейчас в рай, всему виной

СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Это случилось во вторник. А в среду люди Цыца ходили по дворам, отбирая телевизоры, выворачивая бесполезные лампочки, — генератор выключили утром, и к вечеру деревня погрузилась во тьму. Брели всё, что бросалось в глаза, что казалось неуместной роскошью: у плотника изъяли бензопилу, у Твердохлёба — дорогую винтовку, которую он прятал в сарае с дровами. Привыкнув к электричеству, бережковцы давно выбросили свечи и теперь жгли костры, чтобы дойти до уборной. За годы их глаза отвыкли видеть в слабом свете луны, они давно ориентировались по искусственным звёздам, которые стеклянными гирляндами свисали с крыш. Раньше бережковцы допоздна смотрели телевизор, теперь сидели в растерянности и рано легли спать. А на утро пошли разговоры. Сначала робко, отводя глаза, потом всё громче, настойчивее обсуждали предложение Цыца.

— Это всё бабы, — неловко отворачивались мужья.

— А дети за что страдают? — выли, как ветер, жёны.

Дом Галактиона обходили стороной. Анфиса, чувствуя недоброе, как икона, застыла в окне, кормя грудью ребёнка. До полудня решали, кто пойдёт, а в обед явились к Цыцу. Долго мяли шапки, переминались с ноги на ногу.

— Только не на глазах, — решился, наконец, плотник, — отведём в тайгу, а там...

— Нет-нет, — замахал руками Цыц, — справедливость должна быть публичной, в этом её сила!

Они торговались. Но Цыц, чувствуя слабинку, стоял на своём.

— Это ж какой позор! — не выдержав, плюнул плотник.

И, сдвинув брови, вышел за порог.

— Ну-ну, — проворчал в спину Цыц.

Деревня — с ноготь, за день пять раз столкнёшься, и с Галактионом они встретились на кладбище, где тот прятался от косых взглядов.

— Хотел, значит, корни пустить, — проскрипел Цыц, одетый, как всегда, по старинке, с золотой цепочкой поперёк жилета. — Стать пастырем и лежать среди стада... — Он фыркнул, указав на покосившиеся кресты. — На погосте и то вместе — что значит стадный инстинкт!

— Без этого стада я давно был бы мертвец, — вставил Галактион.

— Твои ягнята уже приходили и сдали тебя, как ты сдал меня.

— Пусть так, — глядя в глаза, прошептал Галактион, — зато я знаю, за что умру, а раньше не знал, зачем жил.

Цыц пропустил мимо.

— Ты был как сын — а изменил, чужих благодетельствовал — и где благодарность? Нет, преступление без наказания и наказание без преступления — вот она «человекиада»! — Перед ним опять встало веснушчатое лицо, выглядывающее из-за женской юбки. — Но мы её перепишем! — он рассмеялся: — Скажешь, из меня плохой писатель?

Галактион пожал плечами. Он видел тех, кого они посадили на иглу, и знал, по ком звонит колокол.

— Моя смерть искупит не предательство, — твёрдо произнёс он, — а причинённое зло!

Цыц покрутил у виска.

Судьба, как светофор, и бога из машины сменил для бережковцев чёрт из шкатулки.

К пятнице некоторые ещё держались. Но их ряды таяли, как забытое на столе мороженое. Последним сдался Твердохлёб.

— Ты уж прости, — сутулился он под репродукцией «Тайной вечери». — Они тебя и так убьют, так зачем же зря пропадать? А мы тебя век помнить будем... — В руках он снова вертел свою винтовку. — И Анфиса ещё молода, а из меня какой кормилец?

— Что ты говоришь, отец...

Анфиса по-прежнему сидела у окна с ребёнком на руках. Но говорила тихо, точно уже смирилась с тем, что он осиротеет.

А вечером побежала к Цыцу. Умоляла, плакала.

— Он знал, на что шёл, — с глухим недовольством перебил Цыц. — Кроме того есть законы, перед которыми я бессилён...

Анфиса бросилась на колени.

Глаза у Цыца стали, как у удава:

— Два года я ждал этого, — оценивающе окинул он её. — А ты привлекательна — в Москве полно женихов...

Анфиса вернулась только к утру.

А в полночь к Галактиону постучался учитель. Долго мялся, не зная, с чего начать, после улицы его очки запотели, и он близоруко шурился, вытирая их о рукав. А опрокинув стопку, мотнул головой:

— Это ужасно, нас превращают в зверей! — и тут же потянулся к графину. — Они много себе позволяют, — глянув на дверь, выпил он так быстро, что пролил на воротник. — Нарушают права человека! — А после третьей уже задирает палец: — Однако с точки зрения государственной политики... Бывает, необходимо пожертвовать... Впрочем, не слушайте, я несу околесицу.

Галактион сидел за столом, скрестив руки, и старался думать, что когда-нибудь этот человек выучит его ребёнка, расскажет, чем обязаны все вокруг его отцу. Но эта мысль, ещё недавно соблазнительная, теперь не грела.

— Я горький пьяница, — блестел очками старик, — и мне терять нечего.

А прикончив графин, осоловел. Шатаясь, обернулся в дверях:

— Мы будем за тебя молиться.

— Молитесь лучше за себя! — огрызнулся Нетяга.

И долго смотрел на репродукцию «Тайной вечери».

С Цыцем больше не договаривались, но всё вышло само собой, и в субботу деревня высыпала на

СУД

Руководил всем Соломон Цыц. Но временами он выступал как истец.

— Этот человек, — указывая на Галактиона, обращался он к бережковцам, — присвоил чужие деньги. Его вина усугубляется тем, что он злоупотребил доверием. Заметьте, у него была возможность раскаяться, но он пренебрёг ею... Я обвиняю его в воровстве, обмане доверия, укрывательстве краденного!

Играя желваками, Цыц отступил в тень.

Настал черёд прокурора.

— Галактион Нетяга не сказал нам, откуда у него деньги, — выдвигал обвинения хромоногий староста. — Тем самым он ввёл нас в заблуждение, приведшее к катастрофическим последствиям... — Было видно, что он тщательно готовил речь. — Подсудимый сделал нас невольными соучастниками преступления, так что пострадавшими можно считать всю деревню. И мне не нужно

вызывать свидетелей — преступление вершилось у всех на глазах.

Галактион вспомнил, что староста любил фильмы про судебные разбирательства. Тот говорил долго, а под конец потребовал смерти. Никто не удивился, после его слов все почувствовали обиду.

Адвокатом был Твердохлёб.

— Я спас его, — выступил он вперёд, но закашлялся, и на глазах у него навернулись слёзы. — Если бы я знал... Вон как всё обернулось...

Он беспомощно топтался.

— Мы выслушали защиту, — с глухим раздражением оборвал его Цыц. — Кто хочет добавить?

Толпа подалась.

— Мы и без него не тужили, — сдвинул брови плотник, — а он пробрался, как змей-искуситель... — Голос плотника стал библейски строг. — С таким не цацкаются: кто искусил малых сих, тому мельничный жернов на шею.

Многие закивали.

— Дело за малым, — оскалился Цыц, — выслушать подсудимого.

Галактиона выпихнули вперёд. Он искал глазами Анфису, но она осталась дома. «Ребёнок...» — подумал он.

— Мы ждём! — прикрикнул Цыц.

Галактиона развернули против солнца, он сощурился, и его шрамы слились с морщинами.

— Я заслужил смерть.

— Все ли согласны с приговором? — подхватил Цыц и, поправляя жилет, дёрнул золотой цепью.

Воцарилось молчание.

— Не слышу, — кривляясь, Цыц оттопырил ухо. — Хорошо, будем голосовать, как немые.

Медленно вырос лес рук. Дурачок тянул две.

— Справедливость восторжествовала, — подвёл черту Цыц.

Все почувствовали такую усталость, точно целый день кололи дрова, и казнь назначили на

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Едва не пробив крышу, всю ночь барабанил дождь, и теперь кругом были лужи. Стоя у стены в ожидании расстрела, Галактион вспоминал, как минувшей ночью Анфиса предлагала себя в постели, а после гладила по щеке: «Ты делаешь это ради ребёнка...»

И опять осталась дома.

Долго пререкались, кто будет стрелять. Бережковцы отнекивались, но Цыц оставался непреклонен. И тогда они с решимостью скорее всё кончить взяли автоматы у стоявших за ними людей Цыца. Никто не хотел испортить свой дом, и Галактиона поставили к недавно отстроенной церкви. Он смотрел поверх голов, как после ночного дождя тяжёлые капли стекают с ели, и вспоминал тот рассвет, когда его подрал медведь.

Но больше не видел в нём чуда.

Цыц, как кобра, раздувал шею.

— Командуй же! — не выдержал кто-то, и сразу открылась пальба. Стреляли все, казалось, брёвна за спиной Галактиона должны превратиться в щепки.

А он стоял.

— Однако жарко, — процедил Цыц, и его глаза превратились в щели. — Видишь, Галактион, какое рвение... — Дождевые капли за его спиной стали каплями крови. — А я ещё надеялся, что они буду стрелять в меня, когда приказал вчера зарядить холостые.

Промокнув затылок, он взмахнул платком. Его люди вскинули автоматы, и через мгновение всё было кончено.

— Это в греческой трагедии погибает герой — в нашей гибнет хор, — сплюнул себе под ноги Цыц.

Галактион прижался к стене и с ужасом глядел, как добивают упавших, как к нему под ноги натекают лужи крови. Вот уткнулся в землю хромоногий староста, вот всадили пулю в затылок Твердохлёба. Ещё дёргался в грязи благообразный учитель, а плотник так и застыл с угрюмо сведёнными бровями.

У Галактиона перехватило дыхание.

— Ты что же, не понял? — похлопал его по плечу Цыц. — Они же мусор, я хотел доказать тебе.

Но Галактион не слушал. «Это не Господь спас меня, — думал он. — А тот, кто спас, имел свои цели». Как сквозь пелену до него долетали слова Цыца. «Сожгите всё к чёрту! — кричал он. — Когда природа устаёт разрушать, ей нужно помогать!»

За ночь брёвна отсырели, и огонь не разгорался.

— А всё же приятно пустить дурную кровь... — разглагольствовал у джипа Цыц, и перед ним вставало лицо, прячущееся за мамину юбку.

Это было лицо Семёна Талого, его сводного брата. Соломон вырос с мачехой, и ему пришлось потрудиться, чтобы стать Золушкой.

— Ты едешь? — на ходу бросил он.

— Подожди, — остановился перед раскрытой дверцей Галактион. — Не хочу, чтобы проросло злое семя...

Бросившись к дому, он навесил замок и двумя досками крест-накрест заколотил окно, за которым вопли женщины смешивались с плачем ребёнка. Потом, выхватив у пробежавшего бандита факел, швырнул на соломенную крышу.

ЛОВУШКИ ИЗ ПОТЕРЬ

Я хорошо помню дождливый осенний вечер, когда услышал о философии потерь. За бутылкой вина её развивал Иосиф Арбисман, наделённый, как все художники, особым видением. Мы уже обсудили забытые строки акмеистов, пылившиеся в музейных запасниках гравюры «малых» голландцев и политизированные романы прошлого века, уже не вызывающие интереса, когда Арбисман глубоко вздохнул:

— Мы говорим со временем на языке искусства, а оно с нами — на языке потерь.

Холодный дождь бил в стекло и, смывая с подоконника опавшие жёлтые листья, подтверждал эту грустную банальность.

— *Esse videatur**... — улыбнулся я.

И, считая тему закрытой, налил ещё вина.

Но я ошибся. Мне сейчас трудно передать интонации, которые переплелись в моей памяти с еврейской печалью и жестами, значившими больше слов. Если Шопенгауэр заставляет видеть мир как тёмную, бессознательную волю, Фрейд — как движущую всем сексуальность, а Хёйзинга — как игру, то увлечённость Арбисмана позволила мне увидеть его сквозь призму утрат.

Под влиянием его монолога у меня складывался рассказ. Герой — повествование ведётся от первого лица —

* Надо полагать (лат.)

коротает вечер в гостях. Хозяин — его ровесник, холостяк средних лет, с которым он часто играет в шахматы, уже расставляет фигуры.

— Чем не займёшься от тоски? — кривился Арбисман. — Мы, Зорин, слишком хорошо знаем её вкус...

— Скрасить время можно лишь убивая его, — кивнул я, мысленно возвращаясь к рассказу.

Герою достаются чёрные, клетки равномерно заполняются фигурами, а молчание нарушают только стучащий за окном дождь, да тиканье настенных часов. Неожиданно положение на доске напоминает ему известную с детства позицию. Он помнит, что она таит комбинацию, вызывавшую когда-то бурю восторга. Герой уверен, что партия решается одним ударом, остаётся только вспомнить выигрышный ход. Но память отказывает. Он пытается найти его заново, ломая голову так долго, что соперник едва не засыпает. Отчаявшись, герой делится своими ощущениями.

«Выигрышный ход? — удивлённо морщится хозяин. — Его здесь нет!»

Вернувшись, герой бросается к справочнику. Он ещё верит в ход с восклицательным знаком. И, действительно, вскоре разыскивает нужную страницу. Ход отсутствует. Каприз памяти? Но герой слишком мнителен, чтобы так думать. Его охватывает скверное предчувствие.

— И всё же поначалу пропажи едва заметны, — щёлкнул пальцами Арбисман, будто говорил о себе. — Их ощущают только чувствительные, болезненно замкнутые натуры, которым всюду мерещится знак.

Следующая сцена переносит нас в театр. Дают оперу, которую герой не слышал уже много лет. Он весь — предвкушение дивной арии, которой наслаждался когда-то. Но ждёт напрасно. Ария исчезла. На этот раз ему хватает благоразумия не обратиться к соседу: он уже смутно догадывается...

В дальнейшем потерянные детали становятся осязаемой, примеры исчезновений — обыденней. Так он уже давно не замечает усатых, толстых жуков, которые, пробуждаясь к маю, нелепо кружились в нежной зелени и, жужжа, бились под рукой. Куда они делись? А ведь их призраки продолжают в нём жить, как и радость от принесённой ими весны — прозрачного воздуха и высоких небес!

Или ему только кажется?

Это чувство давно утраченного врач объяснил переутомлением. Но герой не верит. Он полагает, что шахматный ход, оперная ария и майские жуки являются элементами чего-то большого, что постепенно исчезает из его мира, они — части меркнувшей для него мозаики. В этом и состоит правда его жизни, её горькая истина и пугающая простота.

Утраты меж тем нарастают лавиной, обрушиваясь на каждом шагу. Или взгляд героя становится пристальнее? Он замечает, что мир сужается, его краски тускнеют.

— Вначале, когда *чего-то* много, расстаёшься легко, — вращая меж ладоней бокал, пояснял Арбисман. — Горечь проступает, когда остаётся мало, когда в душе, как в колодце, показывается дно.

Тоскуя по прошлому, герой начинает осознавать, что вор — само время, что оно обкрадывает с первого вздоха, что все бьются в паутине, сотканной из потерь. Ветерком по полю одуванчиков проходят родительская забота, первая любовь, верность друзей. Время — река, но не текущая мимо, а заливающая островок жизни. И смерть является кульминацией пропаж. Таков открытый героем закон. Легко поддаётся искушению и свести его к привычному: к утраченным иллюзиям или мучающей ностальгии. Но лучшее для него объяснение — от противоположного. Если у Платона душа постепенно «припоминает», то душа «человека теряющего» — непрерывно «забывает». Герой, страдающий опасной погружённостью в себя, и боится, и ждёт новых исчезно-

вений, как больной — признаков неизлечимой болезни. Такова тема homo preidentis*, такова тема рассказа.

Интересную своей противоположностью мысль высказала мне одна знакомая, находившаяся, я думаю, под влиянием Джелаледдина Руми. Когда, передавая сюжет, я дошёл до финала, звучащего примерно так: «Теперь я слежу за пропажами и смиренно жду, когда исчезнет моё вконец опустошённое “я”», то она, перебивая минор этого аккорда, заявила с уверенностью пророчицы или — чего здесь больше? — безапелляционностью женщины: «Неправда, когда отсеется лишнее, останется подлинная сущность — оголённое “я”!» А позже мы расстались. Навсегда исчезли друг для друга. И я даже не знаю, с такой ли философской невозмутимостью отнеслась она к нашему разрыву, как к утратам выдуманного мной персонажа?***

Сейчас, по прошествии стольких лет, мне хочется изменить судьбу героя. И я приведу несколько возможных вариантов.

Первый из них — скорее литературный ход. В конце рассказа выясняется, что герой, назовём его Лостманом, больше для определённости, чем привнося сюда символ, читал дневник, который вёл в юности. В повествовании, носившем ранее исповедальный характер, совершается переход от первого лица к третьему. И герой уже не воспринимает своего юношеского отчаяния, ведь взамен утрат он наконец обрёл себя. Или с годами у него притупилась острота зрения? Утратилась способность замечать утраты?

* Человек теряющий (лат.)

** На схожие рассуждения я натолкнулся позднее и у Майстера Экхарта, утверждавшего, что для познания Бога необходимо «освобождение от всех вещей» (Gelassenheit). Я прочитал у него, едва ли не путая его «спокойствие» с хайдеггеровской «отрешённостью от вещей», что чем больше ты погружаешься в забвение, в сокровенный и тихий мрак, тем ближе ты к Богу, ибо дальнейшее настолько же поражает меня, насколько и очевидно: Богу противно творчество в образах.

В одном из вариантов он даже не узнаёт своего почерка. Подобная развязка, однако, представляется мне чересчур реалистичной, чтобы претендовать на правдивость.

Согласно другой версии, таинственные исчезновения — это атрибуты кошмарного сна. Медленно гаснущий, как в театре, свет намекает на иное представление. Философии в этом случае отводится роль служанки литературы, с её наваждениями и галлюцинациями.

В третьей гипотезе, к которой я склоняюсь больше, явь выступает как чей-то сон. И действительно, если мы, как считали древние, всего лишь герои чужих сновидений, то почему бы Сновидцу, в отличие от нас, управляющему снами, не возместить нам однажды утраченного? Ведь даже в наших неумелых снах возможны возвраты прошедшего, утраченного, казалось бы, навсегда. Соблазненный идеями одного монаха из Умбрии, считавшего, что для Бога возможно сделать Небывшее Бывшим (а значит, Он способен вернуть и прошлое), Лостман ждёт чуда повторенья. Вернул же Господь Иову его пропажи.* Пока же, рассуждает герой, на скрижалях стирается запись Бывшего, в этом и состоит разгадка исчезновений.

Наконец, комбинируя версии, можно предложить ещё одну. Если жизнь — сон, а смерть — лишь пробужденье, то, быть может, там, за напрасно пугающей чертой, и наступит повторенье. Быть может, там вновь распустится поблекшая при жизни красота. «Когда ты рождаешься, мир, как подсолнух, поворачивается к тебе стороной чувственной, когда умираешь — костенеющей, где царит боль утрат и пропаж, — перефразирует герой Лао-цзы. — Утраты не закаляют, но — заставляют каменеть».**

* Если только Книга Иова не описывает кошмар богача из земли Уц, вместе с явью обнаруживающего утраченное.

** Слова из «Дао дэ цзина»: «Так ребёнок по рождению немощен и слаб, но ему предстоит жизнь, а крепкий старик обречён на смерть».

Бедняга Лостман, обречённый метаться, как кошка по крыше затопленного дома! Неужели тебе суждена отрешённость восточных учений? Неужели тебе не проклюнуть своей сжимающейся скорлупы?

Перечисленные варианты лежат передо мной. Но я не знаю, какой предпочесть. Выбор обрекает на создание законченного Лостмана.

А это означает его утрату.

СДЕЛКА

С Маниным Снегирёв познакомился в психиатрической больнице, в которой оба были старожилками.

— В подъезде раз собака околевала, — рассказывал Манин, скрестив ноги на кровати, — завалилась на бок, лапы подогнула. А лестница в доме узкая, так что жильцам приходилось через неё перешагивать. Отворачиваются — а перешагивают.

— И через нас перешагнут, — эхом откликнулся Снегирёв, поплёвывая на пол.

По воскресеньям Снегирёва навещала мать, бойкая, нарумяненная, посвятившая остаток дней своим недугам. «Один ты у меня остался», — жалела она себя. «А у меня — никого», — думал в ответ Снегирёв. Он уютился в комнате, чихая шерстью вечно линявшего кота, и давно понял, что никто никому не нужен. Женился он неудачно, быстро развёлся, оставив памятью тех лет повёрнутую к стенке фотографию молодой женщины с тонкими, злыми губами.

— А в ночь, когда умирала собака, — слышал он голос Манина, — все спокойно спали. И я спал.

— Так и должно быть, — хмыкал Снегирёв, — каждому — до себя.

Но когда-то было по-другому. Знойным июньским днём мальчик рубил суковатой палкой заросли кусачей крапивы, трещали кузнечики, и небо лопалось от ширины. На душе у него было легко, он знал, что его любят и никогда, никогда

не бросят! А потом вырос, полысел и остался один на один с ничто.

Палата была многоместной. На простынях корчились наркоманы, закусив резиновую палку, пучил белки эпилептик. Как на иголки, повсюду натыкались на бегающие кроличьи глаза алкоголиков. Соседом Снегирёва оказался низкорослый шизофреник с раздвоением личности. Вечерами стучали костяшками домино, грызлись, доказывая свою правоту.

— Злые вы, — обижался шизофреник, — уйду я от вас.

— Уходите оба! — скалились ему в спину.

И опять Снегирёв думал, что никто никого не любит.

Волосы у Манина были жёсткие, а лицо, как у хищной птицы. О себе он рассказывал мало. Говорил, что учительствовал где-то в захолустье, переворачивая дни вместе с листьями тетрадей, а площадь потерял в коммунальных баталиях и теперь мыкался по углам. Работать не хотел. «Не сдохну, — вылизывал он чужие тарелки, — не из брезгливых». И Снегирёв подозревал, что в больницу он лёг, как медведь в берлогу, — перезимовать.

Иногда Снегирёв читал в курилке свои стихи. Строки были скверные, в них рифмовались «кровь» и «любовь», но несли болезненную печать автора.

И Манин жадно слушал.

Серый, с проплешинами снег лез под решётчатые окна. Весь день говорили о самоубийстве, приставляя палец к виску, до хрипоты спорили, а под конец сошлись на ванной и вскрытых венах. А ночью Снегирёв видел сон. Будто он несёт в прачечную грязный саван. «Постирайте», — просит он. Но саван возвращают такой же грязный. И он понимает, что с прошлого не смыть пятен.

Проснулся Снегирёв в холодном поту.

— Хнычем, — вместо приветствия ухмыльнулся Манин, свесив ноги с кровати, — а всё оттого, что кишка тонка.

Снегирёв недоумённо покосился.

— Бритва-то всегда под рукой, — Манин провёл по шее ребром ладони.

По стеклу билась муха, в углу протекал умывальник.

— Жизнь, как наркотик, — каркнул Манин, — когда действие прекращается, нужна эвтаназия.

С воткнутым в потолок пальцем он был похож на библейского пророка.

— Да-да, когда мерзость людская в петлю загонит, нужно, чтобы кто-то стул выбил!

В его глазах заиграли чёртики.

«Сумасшедший», — решил Снегирёв.

— На себя намекаете?

Заскрипев пружинами, Манин отвернулся.

Врач принимал этажом ниже, но Снегирёв не мог спускаться на лифте. Едва кабина захлопывалась, как начинало казаться, будто его засасывает чёрная дыра, точно замурованный, он движется в ад. Ему хотелось кричать, хотелось опять стать ребёнком. Слушая его, врач снисходительно кивал и, сощурившись, ставил галки, которые превращались в таблетки.

К разговору Снегирёв вернулся за обедом, ковыряя вилкой сардину:

— В одиночку умирать страшно.

Вокруг теснились больные, пахло кухней.

— Даже рыба на нересте скопом гибнет.

Манин поднял глаза:

— За компанию и жид удавился.

У Снегирёва разыгралось воображение, ему уже рисовались детали. А ну как другого на тот свет отправишь, а сам удержишься?

— На вас можно рассчитывать?

Манин долго молчал, кроша хлеб в постный суп. Потом, коротко хохотнув, нагнулся к Снегирёву:

— Когда припрёт — пожалуй!

После выписки Снегирёв первое время всё ждал: ни сегодня — завтра его пригласят к смерти. Порой у него появлялось желание опередить Манина, наложив на себя руки, но он сдерживался. «Успею ещё, — доказывал он перед зеркалом, перебирая воздух пальцами. Манин не являлся, видимо, по тем же причинам. У него тоже появился двойник, тень, смертельный друг, который в любой момент мог потребовать жизнь. Снегирёв ждал, и постепенно это ожидание, смешанное со страхом и куражом, придало жизни забытую остроту, возвращая ей давно утраченный вкус. Ничтожнейшее событие — полёт шмеля, застигнутый на заре клочок неба, удачно сложившаяся строчка — приобретали теперь особую значимость, наполняясь смыслом, как это было в потерянном раю.

«Смерть, как комар в ночи: зудит — а не видно», — вспоминал он присказку Манина. Но теперь смерть обрела конкретные очертания. От их затеи веяло безумием. И это тоже придавало существованию таинственный, скрытый от других смысл.

Снегирёв больше не сердился на мать, прощая ей стариковскую ворчливость и выработанный годами эгоизм, без которого невозможно приспособиться к жизни. Он больше не раскаивался и не сомневался, отмахиваясь от прошлого, как от назойливой мухи, и подгоняя будущее, как скаковую лошадь. Раньше его пугало, что впереди ничего не будет, теперь любое мгновение могло стать последним. Он махнул рукой на возраст, обиды, неустроенность, и вскоре всё наладилось — у него завелись деньги, женщины. Повседневность закружила свой водоворот, и он понял, что рай существует и на земле, просто боги, перемешав людей, точно стеклянные шарики в мешке, перепутали их место и время.

Замелькал календарь, и Снегирёву казалось, что он обманул богов. Подтянув вислый живот, он смело читал свои посредственные стихи и вскоре приобрёл успех. Его стали публиковать, он обзавёлся нужными знакомствами. Мать гордилась: сын переехал в квартиру, купил мебель и, делая ремонт, тщательно выбирал цвет обоев. Он хотел нравиться, напоминая девочку, которая кусает до пунцовости губы, укладывал в модных парикмахерских жидкие волосы, старательно закрашивая седину. О Манине он вспоминал редко, втайне надеясь, что тот сгинул где-нибудь на перевале своей кочевой жизни.

Но ошибся.

Манин стоял на пороге, сильно осунувшийся, с недельной щетиной. Снегирёв побледнел. Тысячи раз воображение рисовало ему эту сцену. «Я пришёл разделить с вами смерть», — говорил Манин, точно дурной актёр. «На земле умирают ежесекундно, — возражал он ему, — так что попутчик найдётся у каждого».

Но всё вышло иначе.

— Не могу я больше, — выпалил Манин.

На улице кропил дождь, и он принёс на ботинках грязь.

— Вижу твоё воскрешение и вспоминаю, что койки-то рядом стояли...

Он перешёл на «ты», и Снегирёв прочитал в этом угрозу.

— Вначале завистью жил, а потом и она обрыдла. Осталась одна желчь, как в стишках, что тогда в курилке.

Он провёл ладонью по колючим щекам, облизнул сухие губы. В комнате гулко пробили часы. Снегирёв жестом пригласил его войти, но Манин топтался в прихожей.

— Про уговор наш я всегда помнил, — говорил он, будто с самим собой, — да разве мы люди слова? Я бы и сам дураком прикинулся.

Он кашлянул в кулак.

— А вчера вдруг понял: это же моя смерть твою жизнь питает, это ты из меня жилы тянешь!

Снегирёв замахал руками. Происходящее казалось ему шуткой. Однако в глубине он понимал, что наступил момент истины, что боги смеются, обнаруживая изнанку бытия.

— Стало быть, на моём горбу в рай въехал, — глухо сипел Манин.

И Снегирёв только сейчас заметил, как он опустился.

— Но через меня тебе не перешагнуть! Нет, не перешагнуть!

У Снегирёва запершило горло, он попытался хитрить, но Манин устало отмахнулся.

— Я тебя не обману — в нём две пули, — достал он из-за пазухи маленький пистолет, который должен был вернуть Снегирёву детство.

И тут Снегирёв будто проснулся, ему жадно захотелось жить.

— Подожди, — затараторил он, дрожа, как в лихорадке, — дай только матери записку черкну...

Рука с пистолетом опустилась.

— Я сейчас, сейчас, — выдвинув ящик стола, шарил он в бумагах. — Где же карандаш, где же этот чёртов карандаш!

Манин, сглотив слюну, отвернулся. Роясь в ящике, Снегирёв уловил его движение и, нащупав тяжёлое пресс-папье, ударил наотмашь в висок.

Манин умер сразу, не успев коснуться пола.

А Снегирёв, всхлипывая, бил и бил обмякшее тело.

ЭПИСТОЛЯРНЫЙ РОМАНС

*П*омню школьную песенку: «Воскресенье — солнечный день, пусть исчезнет ссор наших тень!» Мы горланили её на пикниках, которые устраивали по выходным. А теперь по воскресеньям пасмурно, моросит дождь, и мы слоняемся по квартире, устав от изжитых страстей. Дети уехали, оставив нас одних, как быков в загоне. А вечером — гости. Чем тебе не нравится мой галстук? Не идёт к твоему платью? С годами все разводятся, с годами подступает одиночество, которое не с кем разделить.

Потому что когда двое думают одно и то же, это всё равно разное.

Помню, как в школе распевали: «Воскресенье — солнечный день, пусть исчезнет ссор наших тень...» А теперь каждое воскресенье — беспросветный дождь! Весь день не знаешь, куда себя деть, а вечером — гости. Чем тебе не нравится моё платье? Ах, чересчур открытое! Наши языки — как осиные жала. Я знаю, что мы давно пишем скучную повесть, день за днём добавляя новые главы.

И ты знаешь, что я это знаю, а я знаю, что ты знаешь, что я знаю...

Рассказ назывался «Дождь за поворотом», Максим Карабель поместил его на литературном сайте.

«Рассказ автобиографический?» — поинтересовалась она.
«Как и мои остальные», — ответил он.

А потом выяснилось, что она в два раза моложе, и разница между ними составляет четверть века.

Карабель жил в Москве, она — в Ялте. Но неожиданно завязалась переписка, и через неделю у обоих вошло в привычку читать длинное письмо, чтобы писать ответ, который был ещё длиннее. Это придавало жизни таинственную значимость, и они стали размечать дни электронной почтой. «Родители воспитывали меня тургеневской девушкой, — писала она. — Одно имя Ася чего стоит, в нём слышится девятнадцатый век...» Но до девятнадцатого века Асе было далеко. В третьем письме она перешла на «ты», в пятом её любопытство уже не знало границ.

«Чем ты занимаешься?» — спрашивала она. И Карабель, уставившись в тускло мерцающий монитор, вдруг понимал, что стареет, проводя годы в пустоте. А потом вспоминал детство, растрескавшийся гардероб с отцовскими пиджаками, овальное зеркало в прихожей. Но гардероб давно выбросили, а зеркало разбилось.

Продираясь сквозь бесконечные «смайлики», Карабель видел по ту сторону экрана юную девушку, разглядывающую мир сквозь лупу своего «я».

И прощал ей то, что не простил бы ровеснице.

Жизнь длинная, а умещается на кончике пера. К двадцатому письму Асе стало казаться, что она знает Карабеля тысячу лет.

И тысячу лет жалеет.

«Вы даже не представляете, — откровенничал он, — как иногда хочется сменить имя, прошлое, привычки, уехать в чужой город, где тебя никто не знает, где живут безразличные тебе люди, затеряться среди них, забыть свой никчёмный, как у любого, опыт...»

А отправив письмо, ловил себя на мысли, что уже давно живёт в таком городе.

Жена по-прежнему жалила Карабеля, будто осенняя умирающая оса. Однако с началом переписки он стал неуязвим, его переполняла тихая радость, которая служила бронёй. Он старался быть ласковым, но жена, будто что-то почувствовав, стала мрачной, неразговорчивой...

Ася раз за разом перечитывала «Дождь за поворотом», и ей казалось, что она представляет эту странную семейную жизнь. И ей опять было жаль этого грустного мужчину, так непохожего на её сверстников.

Спустя три месяца она заговорила о встрече. Карабель отказал, испугавшись, что первое же свидание расставит всё на свои места. Но однажды в зеркале увидел мужчину, который скоблил бритвой жёсткую намыленную щетину, и, не выпуская из руки бритву, стал бросать вещи в чемодан. По дороге в аэропорт он беззвучно смеялся и твердил, что, в отличие от безумца, знает, что безумен.

Была ранняя весна, в Москве под раскисшим небом лежал грязный снег, а в Крыму уже цвёл миндаль. За окнами автобуса бугрились ручьи, кипарисы, как спички, подпирали полыхавшие на горизонте облака, а на огромном щите светилось «ЯЛТА».

«Я Люблю Тебя, Ася!» — расшифровал Карабель, и сердце его лихорадочно забилося.

Её адрес он нашёл в телефонном справочнике, долго бродил под окнами двухэтажного дома, но зайти так и не решился. Вместо этого снял номер с видом на море и, растянувшись на узкой продавленной кровати, курил, пересчитывая трещины на потолке. А к вечеру спустился в интернет-кафе и привычно отстучал очередное письмо, в котором не было ни слова о приезде.

Так наступило его бабье лето — сухое, без дождей.

Ночью я листал Библию в одинокой постели, покрываясь холодным потом при мысли о смерти. «Где легли двое, там и Я третий», — переиначивал я Евангелие. О, как мудры были иудеи, приводившие на ложе престарелого царя молоденьких девушек! Один человек лечит другого, один человек крестит другого, один человек любит другого — и оба возвышаются до божественного, высекая искру из холодного, как камень, мира.

Но кто согреет меня? Кто утешит?

Ася в который раз читала «Дождь за поворотом» и не могла представить, как можно жить в таком аду.

Сезон ещё не начался, Карабель измерял шагами пустынную набережную, облокотившись о парапет, долго смотрел на холодное, в барашках море. Потом сидел в приморском кафе, пил чай, слушая неторопливую перебранку официанток, и не понимал, каким ветром занесло его в эту дыру. Случалось, он караулил Асю у подъезда, узнавая в каждой выходящей девушке, а если та была с кавалером, стеснялся своего наметившегося живота, проступивших на руках вен.

Одиночество, как дождь в поле — от него не скрыться, не так важно с кем жить, важно — с кем умирать.

Их роман оставался заочным, однако воображение рисовало Карабелю картины бесчисленных измен. Тогда он считал капли из ржавого протекающего умывальника и дёргал себя за ухо, вскрикивая от боли. Несколько раз он складывал чемодан, но до аэропорта так и не добрался.

И всё же знакомство состоялось. Тёплым весенним вечером, у лупившихся краской дверей он представился

брюнетке с раскосыми глазами и крупным чувственным ртом. Не слишком удивившись, та пригласила к себе. Неловко затягиваясь сигаретой, Карабель рассказал Асе про жену, выплёскивая отчаяние, рисовал неудавшуюся жизнь. Он ругал себя — так не завоёвывают сердце молодой женщины — но остановиться не мог. Они сидели на диване, стряхивали пепел в одну пепельницу, как вдруг Ася, смяв сигарету, обняла его худыми, почти детскими руками и, перемешивая дыхание, горячо зашептала: «Я хочу тебя...»

Спали мало, но к утру он чувствовал себя помолодевшим, будто скинул двадцать лет. Завтракали в приморском кафе, пили «Масандру», наблюдая, как зелёное стекло бутылки рассыпало по скатерти «зайчиков», потом спустились к берегу кормить крикливых чаек. Волны с шипением накатывали на гальку, глядя на свою тень, Карабель пригладил пятернёй волосы и, сняв ботинки, ступил на мокрые камни, гримасничая от обжигавшего холода. Ася смеялась, он шуточно грозил ей пальцем и думал, что пишет свой лучший рассказ.

Солнце грело всё сильнее, расстелив полотенце, Ася по-турецки скрестила ноги и, подставившись лучам, жадно курила, сощуривая узкие татарские глаза. А вечером переехала к нему в гостиницу. «После встречи с тобой, — гладил он её волосы, такие густые, что в них застревали пальцы, — прежняя жизнь кажется мне пустой».

Ася спала на его груди, и он чувствовал, как отступает одиночество.

Карабель был женат так давно, что в каждой женщине видел супругу. А теперь он смотрел на узкую девичью спину, на тонкие запястья, на дышавшее свежестью тело и видел в Асе дочь.

«Раньше я боялся умереть, теперь — хочу жить», — шептал он, и глаза его вспыхивали огнём. Он верил, что вы-

рвался из московской западни, и мечтал, как прочитает Асе новые рассказы, посвящённые их любви: «Только с тобой я расцветаю, как жезл Аарона, как засохший листок гербария...» Его переполняло желание обсуждать всё на свете. Он говорил об искусстве, политике, солнечных затмениях, предрекал апокалипсис, чтобы через мгновение говорить о прекрасном будущем. Но Ася избегала разговоров. Всё, что у неё было, это тело. Она касалась пальцами его губ, уверенная, что ночная кукушка перекукует дневную.

А он, изголодавшийся, подчинялся, шалея от ласк и признаний.

И всё же у Карабеля гнездились сомнения, ему казалось, что он давал Асе больше, чем она могла взять. Но судьба дважды не улыбается, и он гнал эти мысли. Отдаваясь любви, он думал за двоих, а после ночных подвигов ел за троих.

И был счастлив.

Ася выросла без отца, бросившего мать после её рождения, и Карабель пробуждал в ней дочерние чувства.

— У тебя много поклонников, — удивлялся он. — Почему я?

— А почему не ты? — сотрясая плечами, смеялась она.

На Пасху Карабель стоял в маленькой ялтинской церкви, как птенца в горсти сжимал трепетавшую на сквозняке свечку и, выбиваясь из общего хора, пел: «*Любовью* смерть поправ...» Возле храма, пластая крылья, купались в песке рыжие воробьи, смеялось солнце, и на обратной дороге он высчитал, что, когда станет глубоким стариком, Ася будет дамой бальзаковского возраста.

«Хоть день, да мой, — ускорил он шаг, — а десять лет совсем не мало!»

Но проходило лето, и в их отношениях наметилась трещина, грозившая превратиться в пропасть. «Жизнь одна, а смертей много», — вздыхал он и видел, как Ася подавляет

зевки. Но его словно за язык тянули. Он говорил, что в сравнении с вечностью возраст не имеет значения. А сам думал, что старше её матери.

И опять чувствовал пропасть, которую невозможно перешагнуть.

Ася смотрела на мир сквозь увеличительное стекло, тогда как его стекло уменьшало, и если для него их встреча была лестницей в небо, то для неё — только эпизодом.

Иногда ему казалось, что Ася его старше. «Максимушка, — нежно звала она, — мой ненаглядный». И тогда Карабель понимал, что спит. А проснувшись, с ужасом ловил себя на мысли, что ненавидит её молодость. «Я хочу, чтобы ты постарела!» — скрипел он зубами, отвернувшись к стене, чтобы Ася не прочитала по губам его беззвучных слов.

Ночью, когда она спала, склонив голову ему на плечо, он курил, вперившись в темноту, и не представлял их будущего.

А если нет будущего, зачем настоящее?

Городишко с ноготь, и они часто натыкались на компании её ялтинских знакомых. Карабель неловко переминался, пока она, краснея, представляла его молодым людям. Вечерами Ася стала задерживаться. Она смущенно ссылалась на работу, а однажды призналась, что устала от гостиницы. Карабель не настаивал — к ней возвращалась прежняя жизнь, в которой ему не было места.

Теперь он всё чаще оставался один, ходил на море и по набегавшим волнам гадал, любит ли его Ася? Перебирая сухие, пахнущие солью водоросли, видел чёрные кудри, такие густые, что запутавшейся в них брошке не требовалась защепка, а уколовшись об острую ракушку, вдруг увидел её всю — нагую, доступную.

В августе у него промелькнула мысль о возвращении. Он уже без ненависти вспоминал квартиру с драными

обоями, громко бившими настенными часами и тапочками под кроватью. Чтобы прогнать воспоминания, Карабель шёл в библиотеку, брал с полки первую попавшуюся книгу, листал, саля пальцем слипшиеся страницы, громко смеялся, но в голове у него крутилась какая-то ерунда: «Бобр бодр, но не добр».

— Я соскучилась по твоим письмам, — однажды сказала Ася.

— А я по твоим, — эхом откликнулся он.

Так их переписка возобновилась.

С этого момента их отношения стали носить странный, болезненный характер. Они проводили день вместе, равнодушно говорили о любви, точно притворяясь, точно играя надоевшую обоим роль, а вечером, когда солнце катилось в море, расставались, чтобы обменяться письмами. Там они были другими, не стеснённые чужим присутствием, возвращались к проведённому времени, раскрывая потаённое, проживали его заново, и буквы складывались в не произнесённые слова. Электронные послания заменили разговоры, письма были правдивее, искреннее, и плоть кричала в них куда громче, куда пронзительнее, чем наяву.

Это раздвоение грозило свести с ума — днём они опять встречались, ходили в кафе, занимались любовью, и всё катилось привычной колеёй.

В письмах возрастала цена слов, которые встречи обращали в пустые звуки. Но Ася этой цены не знала. Она щедро рассыпала «люблю» и «целую», за которыми стояла лишь быстро проходящая страсть. Карабель читал её бойкие пассажи и думал, что его ялтинский бунт закончился, что его лебединая песнь осталась не услышанной.

От морского воздуха ломило суставы, ночами он перекручивал простыни и всё больше чувствовал себя престарелым, утратившим мужскую силу Давидом, которого

молодые девушки согревали свои телом.

От дождя не уйти — он караулит за каждым поворотом.

Осень медлила, но в воздухе уже пахло сыростью, носились злые, кусачие мухи. Подкрался мёртвый сезон. Ялта погружалась в скуку — отдыхающие схлынули, холодный ветер гнал по пляжу жухлые листья. «Я люблю тебя!» — упрямо твердила Ася. «В юности даже ложь святая», — думал в ответ Карабель. Раз он попробовал объясниться. Ася зажала ему рот ладонью, провела пальцем по усам. «Мальчик се-ердится, — растягивая слова, заговорила она, как с ребёнком, — ну иди-и же ко мне...»

И опять постель утопила всё.

А спустя месяц начались сцены, на подоконнике заиграли на свету сердечные капли. Карабеля уже раздражало это странное сочетание женщины и ребёнка, к которому он так и не смог приноровиться — Асю тяготили его разговоры, его молчание. Они расходились всё дальше, их по-прежнему мирила только постель, и хотя Ася ещё оставалась для него светом в окошке, теперь у него хватало сил задёрнуть шторы.

«Мало уметь знакомиться с женщинами, — цедил он, — надо уметь с ними рвать».

Из ванной Ася вышла обмотанная коротким полотенцем, вся в мурашках и каплях, блестящих на смуглой коже.

— Согрей меня, милый, — обжигая дыханием, скользнула она под простынь.

Карабель отстранился.

— Ты маленькая лживая дрянь! — неожиданно закричал он и вскочил с постели.

В самолёте, отвернувшись к иллюминатору, он глядел на громоздившиеся внизу облака, пытаясь проглотить ком в горле. В ушах, как в раковине, шумело море, а губы помнили гибкое, жаркое тело и, пристёгивая посадочные ремни, Карабель истерично расплакался.

Поднимаясь в лифте, он машинально полез в карман за ключом и обнаружил, что так и не вынимал его.

«Снимай ботинки, — встретила на пороге жена, — я пол вымыла...»

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ

« **Р**ебёнку люди кажутся добрыми, взрослому — злыми, а старику — жалкими. Почему так устроена жизнь? Пир хищников, на котором все — жертвы!»

Так говорил Наум Бариблат.

На пятом десятке он смертельно устал. Начальство его не жаловало, повышение обходило стороной, а жена называла архитектором воздушных замков.

«Почему Бог не делится счастьем? Разве от Него забудет? Разве Ему не стыдно за наши страдания?»

Так говорил Наум Бариблат.

За плечами у него был университет. «Эх, Наум, много напишешь, мало — на ум!» — дразнили его Савелий Красножан и Викентий Чернобрус, сидевшие с ним в тесном офисе. Их образование ограничивалось школьными коридорами, а опыт приобретался на факультете житейских наук. Словно близнецы, с одинаковыми ртами-защёлками, они, как животные, знали от рождения как жить и не спрашивали «зачем». Наум думал, что им дано видеть скрытую от него сторону вещей, а, стало быть, все его знания не стоят и ломаного гроша.

— Дел невпр-в-рот! — проглатывая гласные, лял Красножан.

— На носу отчёты! — хватался за голову Чернобрус.

И косились, прищипывая, как лошадь, убеждённые, что весь мир — офис.

А Наум, глядя по сторонам, наблюдал метаморфозы, его всё теснее обступали люди-вездеходы. Они ползали на коленях, едва приподнявшись, бегали с высунутым языком, а, расправив крылья, кружили, как стервятники. Бариблат смотрел на них, будто из-за стеклянной двери, и мир представлялся ему забегаловкой с грязной посудой и наглыми официантами.

«Как можно любить отправившего сюда? Разве завет с Ним не унижительная сделка? Любовь не вымогают! Отец умер после нашего рождения, а над нами властвует отчим!»

Так говорил Наум Бариблат.

Женился он рано. Постель супруги давно похоронили, находясь в «музейных» отношениях — руками не трогать! — но дело сделали: у Наума был взрослый сын и дочь-студентка. А за стенкой точила зубы тёща. Все смотрели одни сериалы, ходили в один туалет, но ели порознь и, слизывая чужие мысли, держали свои под подушкой. Сын был успешный, он делал деньги, будто мыльные пузыри дул, и по служебной лестнице поднимался на лифте.

— Далеко пойдёт! — разбивая яйца о край сковородки, подначивала тёща.

— Не дальше могилы, — огрызнулся Наум, помешивая суп.

Сын не обращал внимания на отца, а, сталкиваясь в коридоре, жалил:

— Не ворон надо считать, а копейку!

— Копейку считать — душа станет копеечная.

Свободное время сын отдавал сексу. Он менял подружек, как жевательную резинку, и над его кроватью под газетной вырезкой с портретом Фрейда красовалось: «Кто

не “кончает”, тот не ест!» По вечерам из его комнаты доносилась тихая музыка и приглушённый смех.

— И зачем приходила? — злился сын, когда гостья не оставалась на ночь.

— То ли ещё будет! — откликнулся Наум. — С годами уже не понимаешь — мир сошёл с ума или ты?

— Спроси окружающих! — рубил сын.

А Наум, отчаянно жестикулируя, ещё долго спорил со своей тенью, и его слушали засаленные пожелтевшие обои с чередующимися, как дни, цветами.

Иногда приходил сосед. Пили чай с брусничным вареньем, туго набивая трубки, курили. Сосед перенёс инфаркт и после больницы был погружён в себя. «Куда ни плюнь — всюду вечность...» — повторял он с тихой задумчивостью, выпуская кольца сизого дыма. И пристально смотрел в угол, точно видел там просверленную дыру, ведущую по ту сторону добра и зла. А Наум вёл обычные разговоры.

— Посмотри вокруг... — Сосед при этих словах крутил головой. — Семья — как тюрьма, окаянная работа! Пожив такой жизнью, становишься, как стреляная гильза.

Сосед невпопад кивал, а Наум распалялся:

— Откладываем всё на завтра, а умираем, как младенцы, — не начав жить. Нет, наши дни, как надоевший сериал, выключить который не хватает решимости.

И однажды сосед не выдержал:

— Болтать все горазды — подай пример!

Так Наум бросил семью и работу.

Он уехал в деревню, в увитый диким виноградом дом своих родителей. Опустевший после их смерти, тот стоял на окраине, в двух шагах от леса, которым Наума пугали в детстве. Тогда он боялся водяных, леших, утаскивающих в омут русалок, страшился колченогую бабу-ягу и болотную кикимору. А теперь боялся повседневности и, забредая в чащобу, жаждал чуда. По нему не плакали, назад не звали.

Однажды позвонила жена, повесившая трубку так быстро, что забыла попрощаться. «Ничего, — крепился Наум, — человек познаётся в своё отсутствие...» По будням, когда домашние расходились, он набирал свой номер и, заглушая гудки, изливал горечь: «Зачем притворяться? Мы — в чужом доме. Мечты в нём несбыточны, а осуществившиеся — не радуют... — он входил в роль, как актёр, произносящий чужие монологи. — Убить проще, чем родить, принести горе легче, чем радость, поэтому на земле и нет рая, а есть только тесный, как общая могила, ад».

На пыльном, захламлённом чердаке зимовали осы, и Наум сжигал их серые, засохшие гнёзда, из которых ушла жизнь. Вспыхивая, они рассыпались горстками золы, а Наум, глядя на белый дым, представлял, как в тесных сотах точили друг о друга жала, будто люди — языки. У одиночества много ступеней, вначале отдаляются близкие, потом от себя отдаляешься сам.

«Что есть истина? В чём состоит правда? В том, что истины нет, а правда — у Судьи, как законы — у судей! Поэтому молиться надо так: “Господи, возлюби меня всем сердцем Своим, будто Самого себя! И вместо того, чтобы подчинять законам Твоей вселенной, дай возможность построить свою!”»

Так говорил Наум Бариблат.

Как-то на выходные приехала дочь с молодым человеком, у которого усики торчали в бороде, как иголки в мотке ниток.

— И чем вы тут занимаетесь? — поинтересовался он, когда накрыли на стол.

— Работаю, — неопределённо махнул Наум.

— Над собой, — усмехнулась дочь.

Молодой человек поправил усики.

— Работа — это не то, что отнимает время, а то, что приносит деньги.

— А жизнь — это совсем не то, что мы о ней думаем, — откинувшись на стуле, выстрелил Наум.

Дочери сделалось неловко, она стала убирать посуду. А Наум, намолчавшись за неделю, уже сел на своего конька.

— Разве вы не видите, что наша цивилизация не оставляет наедине с собой, что она только пролог к цивилизации роботов? — У молодого человека мелькнуло недоумение. — Скоро белковую жизнь сменит полимерная, а душу — искусственный интеллект.

Дочь стала торопливо одеваться, потянув молодого человека за рукав, как пальто с вешалки.

А Наум ещё долго сидел, уперев щеку в кулак, присушиваясь к дому, все шорохи которого давно изучил.

Осень выдалась промозглой, слякотной. Меж рамбились сонные мухи, будто вспоминая про крылья, резко взлетали и с жужжаньем падали. «Точно мы, — думал Наум. — Справа, слева, вверху, внизу — словно кисть у художника, мы сами не знаем, где мы». До его медвежьего угла было не добраться, поглядывая в окошко, он вычёркивал дни в календаре и выл от одиночества. «Всё живая душа», — радовался он телефонистке, напоминавшей о неоплаченных счетах. Но цивилизация, как вор, лишает последнего, и девушек в трубке сменили автоответчики.

Дождь, дождь серый, унылый, небо заволочло, и никакого просвета! Выходя во двор, Наум подолгу стоял, как огородное пугало, отгоняя чёрных крикливых грачей. Надев высокие охотничьи сапоги, ходил он и в деревню, косился на крепко сколоченные заборы, на бескрайние огороды, на обгладывавших мокрые ветки коз. «Вам кажется, что вы держите хозяйство, — стучал он в запертые ворота, — это хозяйство держит вас!» На него глазели, сдвинув занавески. «Живём один раз!» — возвышал он голос, который

превращался в эхо, когда спускали собак: «А умираем каждый день...»

Отец Ираклий состарился в сельской церкви. «Змей на Руси о трёх головах — пьянство, чревоугодие, блуд!» — тербил он курчавую бородку. В деревенской глуши батюшка раздобрел, стал глуховат, а в последние годы его душила астма. Он закрывал глаза на приходские сплетни, исповедуя, давал житейские советы и в глубине был уверен, что его пастве всё простится. «Грех пошёл мелкий, — сипел он, как дырявый насос, — гордыней и не пахнет».

Был церковный праздник, о. Ираклий готовился к крестному ходу.

— Здесь выдают индульгенции?

На пороге стоял худощавый мужчина с умным, нервным лицом.

От неожиданности батюшка подпрыгнул:

— Церковь — не базар!

— Весь мир — базар. И Господь продаёт Царство Небесное. Сдашь экзамен — возьму к Себе! И зачем Ему это?

— Не Ему, агнцу, а нам, грешным!

— А мы-то чем виноваты? — ядовито усмехнулся гость. — Что посеешь, то и пожнёшь: Господь на Голгофе искупал не наши грехи, а собственные.

О. Ираклий обомлел, лихорадочно вспоминая, чему учили в семинарии, а незнакомец ткнул в него пальцем:

— Смерть настолько ужасна, что не укладывается в голове! Может, поэтому нам и предлагают думать о чём-то привычном, понятном — о покаянии, о грехе? — он покосился на чадающую в углу лампаду. — Невыразимый страх подменяется боязнью наказания, а неведомый Бог одомашнивается...

Выгадывая минуту, батюшка поправил рясу.

А гость крыл и крыл.

— Или вот святые, — обвёл он глазами черневшие иконы. — Кто знает, как они жили? Скажете, для легенды это не важно? Тогда чем не святой дон Кихот?

Стало слышно, как оплывает свеча.

Батюшка уже не пытался спорить. «Надо смириться, — думал он. — И с тем, что другие не смирились, тоже». Он прочитал молитву, и ему вдруг сделалось необыкновенно легко.

— Вам не ко мне надо, — просто сказал он, возведя глаза к церковному своду.

И, поколебавшись, поднёс к губам Наума тяжёлый нагрудный крест.

Зима возвестила о себе ломотой суставов. В вечерних сумерках Наум топил печь, ворошил кочергой жаркие угли и, накинув драный тулуп, грел спину у побелённой кладки. Слюнявя палец, листал Библию в кожаном переплёте, примеряя на себя пророков. Чаще других он воображал себя Иовом — также видел вокруг себя пепелище и слышал собственные вопли. Только казался себе несчастнее. «Докричался, — завидовал он еврею, всматриваясь в разыгравшуюся за окном пургу. — А тут хоть волком завой — из бури не ответят». И недоумевал, зачем вернули Иову сытую жизнь. «Утраченное требует не возврата, а замены», — глядел он на пылающие поленья.

И долго распространялся, не стыдясь разговоров с собой.

«Находясь внутри слов, как и внутри женщины, невозможно их оценить. Чтобы услышать родной язык, в словах нужно переставить буквы, оставив их звучание. Чтобы услышать мир, надо также изменить привычный смысл, чтобы увидеть его, надо подставить кривое зеркало. Поэтому правда и угадывается в искусстве, но художник

стеснён в средствах — только у Бога фантазия находит воплощение».

Так думал Наум Бариблат.

На Рождество выпал снег. Наум ковырял ногтем изморозь на стекле, когда в дом постучали. Сдвигая сугроб, он рывком распахнул примерзшую дверь. На пороге, как часовые, стояли близнецы с одинаковыми ртами-защёлками, поддерживая густо перевязанное полотно.

— Псылка, — выдохнул один.

— Р-спишитесь, — протянул бумагу другой.

— От кого? — машинально спросил Наум.

— Откуда нам знать?

— Мы люди м-ленькие.

Наум хотел поздравить гостей с Рождеством, но язык подвернулся:

— Что же у вас и имён нет?

— Почему нет? — обиженно пропели гости.

— Савелий Красножан, — представил товарища первый.

— Вик-нтий Черн-брус, — сделал ответный жест второй.

У Наума перекосило глаза. Он вспомнил, что весь мир — офис, из которого никуда не деться.

— Так вы не братья, — пожал он мягкие ладони.

— Мы любовники, — ухмыльнулись они, видя, как Наум отдёрнул руку. И, потянув за верёвку, распоясали полотно.

На Наума уставился заросший щетиной мужчина.

— Зеркало у меня уже есть, — кивнул на темневшее окно Наум, — забирайте назад.

— Это нев-зможно, — всплеснул руками Красножан.

— Наше дело маленькое, — затянул Чернбрус.

И тут же откланялись. Припав к окну, Наум смотрел на удалявшиеся спины. Снега намело по колено, но гости, взявшись за руки, шли, не оставляя следов.

Овальное, в деревянном окладе зеркало было ледя-

ным, но когда Наум его тронул, расхохоталось, будто от щекотки.

У Наума подпрыгнуло сердце.

— Значит, меня услышали?

— Слышат даже тех, кто себя не слышит! — подмигнуло ему отражение. — Только все врут — просят, чего самим не нужно.

— А я?

— Ты был искренним и заслужил. Теперь всё — в твоих руках!

Бариблат пожал плечами.

— Но я хочу, чтобы всё изменилось...

— Всё не получится: можно изменять либо себя, либо мир.

«Изменять себя — значит изменить себе, — почесал затылок Наум, — а я и так перестал быть собой».

И выбрал «мир».

Так Наум Бариблат стал Богом.

Раскачиваясь на стуле, он теперь часами сидел перед зеркалом, рискуя просмотреть в нём дырку, и у него установилась незримая связь с происходящим за его амальгамой. Он распорядился судьбами зазеркалья, в котором, как во сне, умещался весь мир. Бариблат видел утопающие в ненависти города, видел силу сильных и немощь слабых, видел супругов, у которых были общие дети, но разные кошельки, видел ложь, предательство, измену, видел себя, сидящего перед зеркалом, видел эпидемии, голод, багровую, как кровь, луну, видел горящие глаза убийцы и другие глаза — тигра, раздирающего оленя. «Снаружи дом не оценить, — опять подумалось ему. — И Господь, придя в Палестину, глянул на мироздание изнутри и, сгорая от стыда, пошёл на Голгофу».

А в зеркале Бариблат видел погрузневшего о. Ираклия, отпускавшего грехи, которые таковыми не считал.

— Как здоровье? — целуя крест, спрашивали прихожане.

— На мой век хватит, — свистя от астмы, отвечал он.

Видел и сослуживцев, разносивших под мышкой бумаги вместе со сплетнями, видел себя, втихомолку поносящего их: «Что после вас останется? Пустота? Где честь? Благородство? Нет и в помине, а держится всё на “трахе” и страхе!»

Видел он и свою семью.

— Мой старик окончательно спятил, — развалившись в кресле, стучал по лбу сын.

— Родители все сумасшедшие, — скрестив под юбкой колени, вторила ему молоденькая девушка.

Наум слушал и не испытывал злости. «Ничего не исправит, — шевелил он губами, — так и должно быть...» Видел он и плачущую дочь, с которой расстался приехавший к нему молодой человек, одновременно видел и его — с другой, у которой ноги были такими длинными, что казались нитями, свисавшими с пухлой «катушки». «Мужчина без женщины, как нищий без подаяния», — прилизывая усики, говорил он, опустившись на колени. «Венец — делу конец!» — думала она. Бариблат видел, как жена, принимая ванну, откручивает душ и направляет горячую струю в низ живота. Ему передалась её боль, её одиночество, и от жалости у него ёкнуло сердце. Видел он и прошлое. «И зачем приходила?» — злился сын, когда гостья не оставалась на ночь. «Куда ни плюнь — всюду вечность», — повторял с тихой задумчивостью сосед. И опять пристально смотрел в угол, точно видел там зияющую дыру, ведущую по ту сторону добра и зла. Только теперь Наум не возражал, не спорил. «У каждого своя правда, а истины — ни у кого», — всё больше понимал он тех, кого раньше презирал.

И, сострадав, полюбил людей.

Выдумывал он и новые миры. Но дальше сатиры его фантазия не шла, как из ксерокса, у него выходили вселенные-пародии, вселенные-шаржи, такие же испорченные, как и Земля. В них также вспыхивали войны, гибли дряхлые, изверившиеся цивилизации вместе с их кумирами, богами, представлениями о счастье, на их месте расцветали новые, в которых, однако, всё повторялось. Экипажи с лошадьми сменяли автомобили, дам под вуалью вытесняли девушки в джинсах, а на смену фракам приходили футболки, но мировое дерево по-прежнему поливалось слезами. Вселенные, которые мысленно рисовал Бариблат, отражали его земной опыт, и их обитатели не были счастливы. «Счастья, как денег, на всех не хватает», — думал Наум. Но причина была в том, что он лепил их по образу и подобию, и они повторяли своего создателя — одинокого и отчаявшегося.

— Над нами не отец, а отчим! — роптали люди. — Мы хотим счастья, а он с нами не делится!

— Нам предоставили свободу, и теперь всё в нашей воле!

— А если воля в том, чтобы отказаться от свободы?

Глаза, которыми мы смотрим на Бога, это глаза, которыми Бог смотрит на нас. И Бариблат со скукой слушал эти разговоры. Он видел, что и они создавали Бога по своему образу и подобию, что мир — это пустой экран, на котором можно показывать любое кино.

И показал своё, в котором отвёл себе главную роль.

Теперь у него было всё, и если раньше молодые девушки обходили его за версту, то теперь от них не было отбоя.

— Скажи честно, — разглядывал он очередную избранницу, — ты сейчас думаешь о том, кто рядом с тобой?

— А ты? — эхом возвращали ему. — Ты сейчас думаешь о том, кто рядом с тобой?

— Нет, — искренне признавался он, — я думаю о том, кто рядом с тобой.

Бариблат имел, что хотел, однако его желания быстро иссякали, а осуществившиеся не приносили радости. Теперь он всё больше понимал Бога, разделившего причинённые страдания, и думал, что единственная возможность для человека встать над собой — это повторить Его жертву. Только Бариблат решил пойти дальше — не ограничить свои мучения одним днём, а растянуть их на всю оставшуюся жизнь.

«На земле все искупители!» — ударом кулака разбил он зеркало.

И медленно слизнул сочившуюся кровь.

Когда Наум поднял голову, на дворе стояла весна, стучала капель, и на карнизе чирикали воробьи. Раздался стук в дверь. Наум отворил, и на него уставились близнецы.

— Срок кончлся! — пролаял Красножан. — Попользовался — дай др-гому!

— Ошибочка вышла, — промямлил Чернобрус. — Придётся вернуть.

Наум широко улыбнулся:

— У вас что, и *там* неразбериха?

— Чёрт ногу сл-мит! — скривился Красножан.

— Дел — во! — ребром ладони полоснул по горлу Чернобрус.

Наум улыбнулся ещё шире:

— Может, пора закрывать лавочку?

— Значит, пом-гло? — выдохнул Красножан.

— А бывает иначе?

— Некоторые вешаются, — вздохнул Чернобрус. — Когда уже нечего желать. А зеркало?

Наум указал на осколки.

— Пустяки, соб-рём, — взялся за веник Красножан.

— Секундное дело, — подставил совок Чернобрус.

Вышли втроём, не оставляя следов на талом снегу.

Бариблат вернулся на работу, протирает штаны и считает дни до зарплаты. Он больше ни в чём не сомневается, никого не винит и хвалит то, что вчера ругал. А его жена, с которой он снова сошёлся, потихоньку вздыхает: «Эх, Наум, Наум, вокруг столько возможностей, а ты так ничего и не испытал...»

АПОЛОГИЯ КРИСТОФЕРА ДОУСА

За полторы тысячи лет до богоявления, когда Гильгамеш искал средство бессмертия, а Исида мстила за Осириса, слоновья кость и алмазные копи, которыми изобиловала Нубия, вынудили её жителей признать Господом алчного Амона, а господином — стовратные Фивы. Опалённые пустыней темнокожие пастухи почитали божеством солнце и называли Нил, ниже четвёртого порога которого селились, его сыном. Погребённое под бронзовыми копьями, пирамидами и мумиями, их царство известно теперь лишь амулетами с изображением бараньих голов, гнутыми рогами ваз и несколькими пиктограммами, извлечёнными из-под груды песка. Расшифрованная клинопись датирует их эпохой расцвета нубийской культуры, оборвавшейся торжеством папируса, культом мёртвых и фараонами с солнечным диском в волосах.

Честь их открытия принадлежит Кристоферу Доусу. Удача муравья — достояние всего муравейника, однако то, что жребий пал на Доуса, глубоко символично. Де Лиль, подаривший французам гимн, был гением одной ночи. Предназначением Сервантеса стал «Дон Кихот». Кристоферу Доусу провидение отвело африканский угол и затерянные в песках истины. Как выразился он сам, разрывая привычную паутину причин и следствий, нубийская культура была забыта, чтобы он её воскресил. Долговязый, сухой, как палка, Доус носил рыжие, нафабранные усы, а бородка клинышком делала его сошедшим с портретов Веласкеса. Он был богат и неплохо образован — сочетание, встречающееся не так уж и часто. В академических кругах,

впрочем, его упрекали в неприязни к источникам. «Прекрасное существует лишь в цитатах», — оправдывался он, сводя познание к эстетике.

На пятидесятилетие — время лениво, как Нил, и столь же упрямо — Доуса пригласили в Оксфорд. Ему предлагали кафедру. Он отказался. Он мог себе позволить оставаться свободным, презирая университеты с их иерархией и склоками. Он родился одиноким волком и оставался им всю жизнь. К тем же временам относится расцвет основанного им «Клуба сторонников синего цвета». «В даосских школах, — объяснял Доус, — синий цвет был цветом абсурда, и я намереваюсь вновь выбросить этот флаг иронии и философского смеха». И действительно, исправить чужое творение невозможно — остаётся его высмеять, и Доус, опровергая вселенские устои, взял на себя роль пересмешника. Соперничая с небесным Архитектором, он дал парадоксальный ответ на Его вызов, предложив безумием отгородиться от Его безумного мира. Если Эпиктет терпит, а Сизиф плачет, то Доус — бунтует. Я хорошо помню, как возникла у него эта идея. В тот дождливый осенний вечер мы сидели за шахматами, слушая, как скребут по крыше тяжёлые еловые ветки, и говорили об условности правовых норм.

Доус привёл аналогией шахматы:

— Измените в правилах ходы для пешки — и шахматный мир рухнет.

Я рассеяно кивнул.

— А разве конституции — не наследство мертвецов? — продолжил он.

Чёрно-белые клетки стали давить, как могильные кресты.

— К счастью, чтобы жить, не обязательно им подчиняться, — улыбнулся я и напомнил про королеву Зазеркалья, менявшую правила игры.

На лице Доуса мелькнул азарт.

Быть законодателем — значит сыпать песок на ветер, время обращает законы в пустой ритуал. Люди не носят одежду прошлых эпох, вышедшее из моды кажется смешным. Громоздя нелепости, свою лепту вносил сюда и клуб Доуса, регламентом которого было подчёркнутое отсутствие регламента. Вместо приветствия в нём можно было лаять, мяукать или, пожимая руку другой, приветствовать себя: «Добрый день, Леопольд Блум!» Традиционный бридж, благодаря однообразным расчётам позволяющий коротать скуку, был заменён изобретённым Доусом гибридом из покера, лотереи и старинной китайской игры, в котором отсутствовала стратегия выигрыша. По субботам при свете зелёного абажура велись чтения классической английской литературы на коптском наречии, а по воскресеньям — на языке глухонемых. Напоминая упражнения суфиев и коаны дзэн, эти чудачества выглядели пародией на духовные практики. И всё же имели свой подтекст. Курьёз выступал в них самоцелью, розыгрыш закладывался в основу мироздания, где над добром и злом возвышается каприз. «Не умножай сущее», — заклинал францисканский монах, соотечественник Доуса. И Доус множил фантазии, которые опровергают сущее, чтобы однажды, быть может, занять его место. Ибо сущее соткано из коллективных заблуждений, всеобщих иллюзий и ошибок, принятых за достоверность. Оно держится на сиюминутной договорённости, а его факты — интерпретации фактов.

Если жизнь Доуса являла собой тайную метафору, то его смерть грозила перерасти в разоблачение. Недоброжелатели, имя которым всегда легион, с неприличным усердием топтали ещё свежую могилу. «Я оригинален, значит, существую!» — издевались они. Члены его клуба поспешили отречься от знакомства с ним. Археолог, сопровождавший Доуса, стал называть его не иначе, как

удачливым невеждой. «Эхо уснувшей цивилизации, — сокрушался он, — подслушал непосвящённый».

Экстравагантность — бельмо на глазу, а посредственность умеет мстить. Злые языки утверждали, будто ещё до находки видели у Доуса перевод древнего текста. А как путавший египетскую династию с эфиопской мог разобраться в тайне иероглифов? Задним числом Доусу припомнили и собрание в своём клубе подделок, едва не перешагнувших музейный порог — идея, некогда приводившая его критиков в восторг. «Подделка — тот же подлинник, — говорил он, определяя правду как ставшую всеобщей ложь. — Кто различает жухлые листья в лесу? Время шлифует апокрифы до блеска оригиналов».

Отрицающий миропорядок, Доус оставался выше слухов: молву заглушает лишь равнодушие. Но я нарушу эту пропись и рискну подать голос в его защиту.

Многое из ушедшего представляется странным. Как остроумно выразился Доус, глазам на затылке не дано видеть, мимо чего прошёл нос. Так монгольская яса предписывала смерть поперхнувшемуся едой, купавшемуся в грозу или уличённому в злословии. В Канзасе до сих пор запрещено есть по воскресеньям мясо гремучей змеи и крякать по-утиному. Удел всех законов, старея, превращаться в нелепую церемонию, их рациональность могут оценить лишь современники. Кодекс, обнаруженный Доусом, выносил приговоры не менее удивительные. Помимо воров и разбойников нубийцы казнили торгующих без платка женщин, чужестранцев, разбрасывающих с верблюдов засушенные корни, бородачей, украшавших себя колючками, заболевших проказой менял и жрецов, загибающих пальцы при счёте. Смерть у этих легендарных племён слыла наказанием лёгким, ибо избавляла от унижительного раскаяния, презрительных взглядов и ожидания смерти. «Казнь — это моментальное искупление, — утверждал один

из сторонников инквизиции, — усекновение головы — кратчайший путь к райским вратам».

Законы умирают быстрее, чем их успевают хоронить, консерватизм превращает их в юридические казусы. И сегодня в Бостоне перчатки на похоронах грозят тюрьмой, а в Уинчестере разрешается ходить по канату только в церкви. Нубийцам под страхом изгнания запрещалось пронзать иголками спёртый воздух, смотреть, как солнце волочит по небу алый шлейф, давить в новолуние скорпионов и думать о себе в третьем лице. Перечень их законов хранится в архиве, а я вернусь к оправданию Доуса. Моё предположение претендует быть лишь вкладышем в бесконечной книге гипотез. И действительно, прошлое столь же сумрачно, как и будущее, история — это наука гадать, её инструмент — карты Таро или «Книга перемен».

Вера в линейное время отводит настоящему лишь мгновение, которое уничтожается последующим. Противоположная точка зрения утверждает круговорот жизни, сводя её к череде непрерывных превращений. Учение о метемпсихозе разделяют не только на Востоке. Александр Македонский припомнил себя Ахиллом, Пифагор — золотобедрым Аполлоном, Шопенгауэр — Пифагором. Если вечная душа существует параллельно времени, меняя, как одеяние, тела, то в одном из прежних воплощений Доус мог быть и нубийцем. Рыжеусый, чопорный англичанин, однажды он увидел в зеркале курчавого негра с вывороченными белками и оттопыренной нижней губой. Гремя ожерельем из зубов крокодила, этот нубийский Моисей водил колышком по глине, предвосхищавшей ветхозаветные скрижали. И проснувшаяся прапамять подсказала Доусу место захоронения этих табличек и их мёртвый язык. Воображение рисует мне его улыбку, когда он вспомнил, как, простирая шуйцу (Доус был левшой), судил под удары

дубин о бегемотовую кожу, видя трепет ответчиков и нетерпение палача.

Эта версия многое объясняет. И всё же, зная характер Доуса, я подозреваю лукавство, дерзкую попытку провести мир. Представим, что тот Доус (или лучше пра-Доус), в новой версии уже египтянин, покорявший нубийцев мечом, приписал им свод нелепых законов: завоеватели всегда стремились очернить побеждённых. Перед смертью он прячет созданный им апокриф, чтобы обнародовать его в своё следующее пришествие. Кто разоблачит его, кто отличит миф от реальности? Вымышленное царство пресвитера Иоанна тешило поколения, мнимое завещание Петра Великого — пугало.

Банальный эпитет называет прошлое призрачным, Плиний сравнивает его с воском, Августин — с верёвкой из песка. И действительно, настоящее делает его игрушечным, а историю — как бы историей. Сиюминутность выворачивает былое, под рукой летописцев не бывшее становится бывшим. Но Доус пошёл дальше. Он изменял прошлое, которое только должно было стать будущим. При этом он не был тщеславен, а его желание обмануть потомков было ребячеством, за которым проглядывало шутовство и неумная тяга к розыгрышу.

Ко множеству взглядов на историю, оправданием которой занимались от Геродота до Блока, а опровержением — от Гардинера до Рассела, приведённое добавляет ещё один. Быть может, вся человеческая история сводится к истории чьей-то шутки, быть может, миром движет не воля, но — прихоть, а таинственная Клио хранит на устах улыбку?

Разрыв аневризмы застиг Доуса во сне. Какие сны он видит теперь? Представляются ли ему берега Ахерона такими же унылыми, как пески Нила? Я вопрошаю, а ответом мне служит безмолвие небес.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ

Все счастливые похожи друг на друга, каждый несчастный — несчастен по-своему.

Зиновий Модестович Мирский родился в русской глубинке, где жизнь, как «лежачий полицейский», — сама не движется и другим не даёт. Он вырос с матерью в чистой, опрятной комнате с окнами во двор и жёлтым кенаром, который, прыгая по клетке, верещал ни свет ни заря: «сор-к первый, сор-к второй...» Зиновий жил под флюгером в виде золотого петушка, за железной оградой, наблюдая, как гуси на закате топорщат крылья, и загадывая, вспорхнёт ли с ветки синица, пока он скороговоркой расскажет стихотворение. Если, просыпаясь, он жмурился от солнца, то вставал к окну и, сгребая паутину, освобождал мух, а в дождь, раскинувшись на огромной кровати, продолжал смотреть сны: в них шёл дождь, сквозь который проступали новые сны. Раз в неделю его навещал отец, торопливо высыпал на стол сладости, гладил по макушке и, не умея подобрать слова, долго смотрел вверх головы, отчего делалось не по себе. На прощанье отец просовывал ладони подмышками, неуклюже подбрасывал к потолку и, уколов щетиной, поспешно прикрывал за собой дверь носком сапога. Замерев посреди комнаты, Зиновий тогда слышал, как за стенкой он тихо переругивается с матерью, будто жизнь, как больные

зубы, можно заговорить. А потом гас свет, отец в три шага пересекал двор, скрипел калиткой с целующимися резными голубями, и на него каждый раз лаяла собака.

В саду росли яблони, на ветру ветки скребли крышу, а в августе яблоки, как попрошайки, стучали в окна. Случалось, стекло разбивалось, и отец тогда вставлял новое, точно собиравшись этим что-то поправить, точно до сих пор был мужем.

А потом он исчез, как свет в щели, которую законопатили.

Стрелки на циферблате с глухим боем догоняли друг друга, посреди воскресенья проступал понедельник, и под кроватью у Зиновия появились книги. Днём он читал их, держа у живота, или на полу, к которому свешивался с кровати на локтях, пока не затекала голова, а ночью — с фонариком под одеялом. Мать замечала на косогоре постельного белья светлые пятна, но, вздохнув, поправляла подушку и молча удалялась. «Одни строят жизнь, другие — сопровождают», — мелко крестилась она на икону в углу и, задув свечу, не знала, какую судьбу пожелать сыну. От лета к лету ей становилось всё труднее следить за его мыслями, которые подчинялись особому календарю. «Зачем думать о том же, что и другие, — повторял он, облизывая пересохшие губы, — каждый должен думать о своём».

Когда пришла пора, мать, ломая гребень об упрямые колтуны, расчесала ему кудри, нацепила на плечи ранец и, посидев на дорожку, проводила до школы, из которой он больше не вышел. По её окончании Зиновий стал сгибаться под дверной перекладиной, но привычек не изменил. Он по-прежнему сгребал паутину, освобождая мух, в трамвае уступал место, а на закате смотрел, как, удлиняясь, во двор ползут тени. Пробовал он и сочинять. На уроках, тайком, записывал пришедшую строку, скадывал дома с другими в стихотворение и, глядя в окно, опять загадывал, успеет

ли его прочитать, прежде чем с ветки вспорхнёт синица. Писал Зиновий и прозу, в которой отражал провинциальные будни, унылую русскую природу — серенькое небо и сонно текущую, как дни, реку. Постепенно это стало его страстью, радость связывалась теперь с удачно подобранной метафорой, а если предложение не вытанцовывалось, он целый день ходил хмурый. Видя, что пишет не хуже тех, кого читает, он стал мечтать об известности. А потом съездил в столицу, чтобы вернуться оттуда учителем, привёз жену с сыном, однако про жизнь в Москве рассказывать не любил.

После женитьбы его жизнь перекосилась, как рубашка, застёгнутая не на ту пуговицу. «Семья — это вам не блины у тётчи!» — бросал он на ходу, оплачивая беготнёй по урокам съёмную квартиру. Однако неудачный брак наследуется, как цвет глаз, и скоро он стал жить на два дома. Когда от семейных сцен обострялись болезни, он возвращался в комнату с окном во двор. «У жены можно жить, — ставил он в прихожей туго набитый саквояж, — умирать нужно у матери». Но проходила неделя-другая, болезни отступали, и он, кидая в сумку книжки, кричал: «У тебя можно умирать, жить нужно с женой!»

К тридцати он потерял обеих. От матери остался ключ от дома, где яблоки били стёкла, а от жены записка, что она ушла к аптекарю. «Наверно, я плохо пишу», — скомкал он её, окончательно переехав в детство. Жизнь кидала его из стороны в сторону, но он шёл в свою, сравнивая себя с карманными часами, которые меняют хозяев, продолжая упрямо ходить. Переселившись, он намертво прибил флюгер, опасаясь яблокопада, выкорчевал деревья и спилил с калитки целующихся голубей.

Боясь разочарований, читал он теперь мало, убеждённый, что хорошая книга та, которую вовремя поставил на полку. Зато ночами много писал. Он был уверен,

что ребёнком, как ложку в кулаке, держал тайну мира, которую, повзрослев, забыл, и теперь, слушая, как под полом скребются мыши, пытался снова нащупать в словах. Несколько раз он отсылал толстые, залитые сургучом конверты, которые возвращались нераспечатанными. «Где вас публикуют?» — поддевали его после сплетен почтальона. «Не до меня — я не моден...» — густо краснел он и думал, что его таланта не замечают так же, как в его фразе — палиндрома. Но в душе завидовал. Читая похвальные рецензии, в недоумении чесал затылок, пока не понял, что у критиков нос из воска, который можно крутить в любую сторону.

Пророческого дара Мирский был лишён совершенно. Наденет калоши — шпарит солнце, сушит бельё — идёт дождь, зато на бумаге был вершителем судеб. Ловко подгоняя обстоятельства, укладывал их в мозаику, которая придавала смысл их бесцельному хороводу.

По утрам Зиновий Модестович впихивал себя в трамвай, который громыхал через весь город, а возвращался в сумерках, когда вдоль тротуаров, мерцая, плыли фонари. За остановку до школы в трамвае появлялись ученики, задевая ранцами, смущённо здоровались, он кивал, чтобы через несколько минут встретить их в классе. В бороду уже лезла седина, приподнимая шляпу, он показывал проплешины, ученики вырастали, их улыбки не помещались в зеркало, они пересаживались за руль, а он ездил и ездил, по привычке уступая место. Вызывая к доске, Зиновий Модестович был скор на «двойки», но стоило заговорить о словесности, таял. Размахивая белыми от мела руками, он на множестве примеров обучал правилам грамматики, а на своём — как не нужно жить.

Раз в неделю он навещал сына. Покупал по дороге сладости, торопливо высыпал на стол, гладил ребёнка по макушке и на прощанье, просунув ладони подмышками,

подбрасывал к потолку. И каждый раз, когда носком сапога прикрывал калитку, на него лаяла собака.

А дома утыкался в бревенчатую стену, сверля взглядом дыру, точно надеялся разглядеть будущее.

Сутулый, в длинном старомодном плаще, Зиновий Модестович стал походить на привидение. Надевая варежки, он прятал руки в карманы, на уроках, слюнявя палец, рассеянно листал тетради, машинально расписываясь, сажал красные чернильные пятна, и мысли его были за тысячу вёрст. Из рта у него неприятно пахло, а когда он ковырял мизинцем в ухе, тот прятался в волосах. Его стали сторониться и раньше срока проводили на пенсию.

На свете одни дирижируют, другие играют в оркестре. Зиновий Модестович выводил соло. Верный себе, он ни на кого не оглядывался и ни к кому не примерялся. Между собой и миром он воздвиг множество преград, словно зашил себя в чехлы, из которых уже не мог выбраться. И, как щенок, которого топят в кадке, с рождения шёл ко дну.

Постарев, Мирский осунулся. Судьба больше не стучалась в его дверь, а жизнь напоминала леденец, который исчезал так быстро, что он не успевал его распробовать. Долгими зимними вечерами, пряча в бороду мёрзнувшие пальцы, он смотрел, как в лунном свете скользят по обоям тени снежинок. Ночами, ворочаясь от бессонницы, изучал скрипы поясницы, а когда в воздухе пахло весной, думал, что мир, которым правят взрослые, создан для детей. Он уже давно со всем смирился, и только иногда на церковных ступеньках его душили слёзы.

«Я так старался, — всхлипывал он, глядя на холодные звёзды, — так старался...»

Однажды за столом Зиновий Модестович вытер коркой губы и, положив её на язык, умер. От него осталась дюжина рваных шляп и ворох испещрённых листов, сваленных в кожаный чемодан. Словно в луковице, в них слоились

разговоры родителей, которые он стал понимать прежде, чем выучился словам, проступала долгая, как выюга, тоска, торчали иголками накопленные обиды, в них Зиновий Модестович задним числом давал себе советы, будто исправлял ошибки в бесконечных черновиках, словно тарелки, разбитые на счастье, можно склеить. Жизнь в них выворачивалась наизнанку, несбывшееся сбывалось, а мечты воплощались, точно с самого начала были предназначены для бумаги.

Спустив на нос очки, сын разбирал их с неделю, а потом забросил на чердак. В Родительскую субботу он приходит к отцу, выпивает на кладбище рюмку, выливает вторую на землю и, садясь на скамейку, замечает, что могильные камни, как люди, одиноки, но каждый камень одинок по-своему.

РАССКАЗ, ВЫСТАВЛЕННЫЙ В ИНТЕРНЕТЕ

« **В** снах время течёт в обратную сторону, а когда оно встречается со временем, текущим наяву, рождается пророчество», — подумал Митрофан Драч, и ему стало не по себе. Близилась полночь, сквозь дырку в заборе проглянула луна.

Одни рождаются с зубами, другие — в сорочке. Драч родился с отметиной постороннего, и его родимое пятно стало для него путеводной звездой. Он жил один так давно, что уже не помнил лиц близких. Словно фотография в рамке, он пребывал среди привычных вещей, занашивая рубашки до дыр и обрастая бородой, которую брил раз в месяц. В остальное время Драч писал прозу — не найдя общего языка со своим веком, он затеял с ним переписку. Однако ответа не получал. Да он и не стремился, веря, что каждый писатель сочиняет для единственного читателя — как только он его прочитает, писатель умрёт. Жизнь текла мимо, а Драч сидел на берегу, не ударяя палец о палец. Он верил, что мысли, как ногти, растут и после смерти, записывая их на колене, думал, что любой текст — всегда черновик, и складывал исписанные бумажки в шляпы, которые не успевал менять. «Судьба не копейка — в карман не положишь», — кряхтел Митрофан, горбясь на стуле рядом с кактусом, который то засыхал, то слезился падавшими в чернозём каплями. И Митрофан, безразлично кочуя

по комнате и не встречая ничего, кроме солончаков, как верблюд в пустыне, научился жевать его колючки. Однако с годами у него появилась привязанность — всё больше вечеров он проводил в Интернете, и реальность постепенно делалась мнимой: далёкое в ней становилось близким, а близкое — далёким.

Позапрошлой ночью Митрофан допоздна засиделся в Сети, и ему приснился странный сон. Будто пропал известный писатель Нафортим Чард, который публиковался в его издательстве. Ни в каком издательстве Драч на самом деле не работал. Он давно выпал из гнезда своего времени и, перечитывая пожелтевшие газеты, в которые ему заворачивали хлеб, лишний раз убеждался, что в мире нет ничего нового. Однако во сне он ломал голову, как вернуть писателя. Разбирая его произведения, вспомнил незаконченный рассказ-аллеорию, и ему показалось, что разгадка в нём. Рукописи Митрофан не читал, но видел её фрагмент со словами «лай» и «Эльвира», и во сне ему пришла мысль привлечь к поискам Интернет. Перебирая сайты, всемирная паутина вывела его на рассказ «Без четверти вечность». «Новый день отделён от старого, — утверждал в нём Нафортим Чард, — завтра может и не наступить, потому что между днями, как между страницами, существует незримая щель». От этих слов Митрофана прошиб двойной пот: подушка стала мокрой, а во сне он вытер ладонью лоб, точно отрещиваясь от прочитанного. Однако оторваться не мог. «Полночь — опасное время, — водил он по тускло мерцавшему экрану, — она таит бездну, через которую переходят по мосту в двенадцать шагов. При этом, как слепцы на верёвке, которую тянет век-поводырь, не разбирают попутчиков, держась суеверий эпохи, обливаясь общим для всех потом...»

«Таков закон мира, — уверял Чард, — и горе нарушившему его».

«Время, как колесо, заехавшее в муравейник, — возразил Митрофан, шевеля во сне пересохшими губами, — одни на гребне, другие — под пятой, но все — раздавлены».

А рассказ Чарда, между тем, оборачивался притчей. Герой, в котором легко узнаётся автор, одинокий, как закладка меж страниц, выпускает из рук нить времени. Однажды в полночь, когда волки вздыбливают под луной серебристую шерсть, а стрелки смыкают челюсти на горле циферблата, он срывается с моста в пропасть между днями. Без четверти двенадцать время вручает ему чёрную метку, и для него начинается обратный отсчёт, неотвратно подталкивающий к бездне. Угадывая судьбу, он ещё пытается найти выход, но тщетно — бой часов заглушает его отчаянный крик.

Мораль притчи прозрачна: герой обречён, потому что его никому спастись.

Зверя находят по следам, убийцу — по отпечаткам, писателя — по тексту. Прочитав рассказ до конца, Митрофан, как это бывает во сне, понял, где искать Чарда. А затем декорации меняются, фигурками башенных часов выплывают чёрные монахи с гусиными перьями за ушами, а за ними, привязав к монастырским воротам коней, разводят костёр раскосые кочевники — сжигая иконы, они варят мясо. Прогоняя, как прокажённую, луну, небо вдруг делается с овчинку, а воздух от холода покрывают мурашки. Однако Драч не прекращает поисков и находит писателя у старухи по имени Эльвира, которая натравливает на него собаку. В неверном свете луны та скалит зубы, её злобный лай разносится по округе. «Это — эпоха, которую вечность спускает с поводка», — понимает во сне Митрофан и, оглохнув от лая, зарывается в подушки. И всё же ему удаётся спасти Чарда. «Человек вне времени, как слово вне речи», — слышит он его голос, который перекрывает бой часов.

Митрофан открыл, было, рот, но вместо ответа широко зевнул.

Проснувшись на матрасе со сбившейся простынёй, он подумал, что из этого сюжета может получиться рассказ, который и написал за день. Он так и назвал его «Без четверти вечность», однако из суеверия убрал слова «лай» и «Эльвира».

Сварив кофе, Митрофан надкусил бутерброд и поместил текст на одном из литературных сайтов.

За окном поплыли сумерки, тускло замерцали фонари. Потянувшись, Митрофан собирался остаток дня провести в одиночестве, слоняясь по комнате, когда телефонный звонок пригласил его на вечеринку. «Друзья, как зубы, — проворчал он, не попадая в рукава плаща, — появляются — не успеваешь считать, всю жизнь ноют, а теряются с болью». Он уже давно предъявлял себя, как паспорт — лишь по требованию, и теперь, сличая номера домов, гадал, к кому идёт. «Это э-э...» — представили его с порога, отведя дальний угол, где он ёрзал верхом на стуле, тёр спину о дверной косяк и не расставался с бутылкой вина. Женщина стареет, когда свыкается с губной помадой, мужчина — когда понимает, что последняя женщина в его жизни уже была. Митрофан был ещё не стар, но выцвел, как закладка меж страниц, и, когда начались танцы, приготовился подпирать стену.

«Человек — всюду лишний», — утешался он, опуская палец в вино и время от времени смачивая брови.

После двух бокалов он уже сосчитал на обоях все пятна и, морща лоб, прилаживался, как незаметнее взять с вешалки шляпу. Но тут появилась девушка в свитере, с сонником подмышкой. «Подержите, — сунула она книгу Митрофану, — будет, куда поставить бокал». Девушка смотрела, широко распахнув ресницы, и от смущения Драч поведал свой сон. «Искусство — сквозняк в тёмном

лабиринте, — закончил он свою историю, украдкой косясь на обтянутую свитером грудь. — Следуя за ним, можно добраться до выхода». Девушка улыбнулась. «Мужчины такие самоуверенные», — проворковала она, касаясь губами его бороды. Он неловко затоптался и, сообразив, что танцует, постарался не наступить ей на ногу. Так, в танце, они вышли на улицу, а потом перепутали дорогу, и Митрофан вместо своего дома поехал в её. Она жила на окраине, и Драч не успел спросить её имени.

А утром ей пришла мысль. «Послушай, — сказала она тоном, который не терпит возражений, — нужно повторить всё наяву». Она примеряла у зеркала причёску, и чёрные волосы поднимались и опускались, как крылья ворона. Драч заглянул ей в глаза, но ничего в них не увидел. «Обратись к Интернету», — пояснила она с лёгким раздражением. Он хлопнул себя по лбу и, одной рукой прижимая коробок к столу, чиркнув спичкой, прикурил, а другой пробежал по клавиатуре, как это делал во сне. Список ссылок содержал одну строку — его рассказ, написанный вчера. «Какая я глупая!» — засмеялась девушка, в очередной раз взмахнув крыльями волос. Она полагала, что слова, на которых строился интернет-поиск, в рассказе и сне совпадают. Но Митрофану было не до смеха: ведь он набрал в поисковике «лай» и «Эльвира» — слова из притчи Нафортима Чарда.

«Ты меня подождёшь?» — застучала каблуками девушка, собираясь на работу. Драч кивнул с видом человека, обнаружившего, что весь день ходил с расстёгнутой ширинкой. «Это наяву настоящее лежит на перекрёстке прошлого и будущего, во сне у него своя дорога», — подумал он и, заперев дверь, стал чертить клетки, подставляя в них неизвестные своего уравнения. Во сне события разворачивались в следующем порядке: исчез писатель, разыскивая его, Митрофан натолкнулся на его последний рассказ, слова из которого привели к старухе с собакой. А наяву

всё развивалось в обратной хронологии: Митрофан задал поисковику приснившиеся ему слова, и они указали на его рассказ, из которого эти слова были изгнаны и в который опять прокрались, как воры. Таким образом, сон и рассказ, написанный по его сценарию, поменялись местами, образуя петлю из причин и следствий.

Мир обнаружил вдруг сущность палиндрома, и Митрофан понял, что, распутывая во сне клубок, приближался к зеркалу, в котором «Митрофан Драч» превращается в «Нафортим Чард», что, разыскивая себя, стал героем собственного рассказа.

Для полной симметрии ему оставалось получить известность и исчезнуть.

Клетки постепенно заполнялись, отступая его, как попрошайки, вынимая по частям его «я». Он вдруг вспомнил, что притча из сна была незакончена, а значит, и его рассказ представлял собой черновик. Склеив их, как бумажного змея, Драч почувствовал, что его хвост, будто рука оракула, указывает на него. «В снах время течёт в обратную сторону, а когда оно встречается со временем, текущим наяву, рождается пророчество», — подумал он, и ему стало не по себе. Сквозь дыру в заборе проглянула луна, близилась полночь, а девушка всё не возвращалась. Уперев локти в стол, Митрофан принялся ко времени, собирая в кулак его до роги, и чувствовал, как на голове у него вместо волос растут нервы. Забираясь под воротник, страх вытянулся, как тень на закате, а мысли стали короткими, как бабье лето. Сунув ручку за ухо, он прошёлся по комнате и только к пятому шагу сообразил, что его рассуждения не стоят ломаного гроша. Ведь из них выпадало промежуточное звено — не было ни старухи, ни её собаки. Настенное зеркало отразило его улыбку, он провёл пятернёй по голове — у него опять росли волосы. И тут его взгляд упал на дамскую сумочку из крокодиловой кожи. Щёлкнув замком, Митрофан опустил

в неё руку — заколка, как собака, укусила его за палец, и, цепenea от ужаса, он вытянул из бокового кармана чёрную метку — визитку, на которой значилось: «Эльвира».

Было без четверти двенадцать. Он стоял с пером за ухом, а эпоха за окном жгла иконы, чтобы варить мясо. И тут Митрофан Драч понял свою трагедию — его было некому спасать.

КРОВИНОЧКА

Нина Михайловна протянула с порога тапочки:
— А то грязь нанесёшь.
Топчась на мокром половике, Илья Петрович неуклюже протиснулся в щель.

— А зонт поставь в угол — натечёт.

Вечерело, но солнце ещё тускло густело на посуде, пуская по стенам «зайчиков». Весь день налетали дожди, полоснув молниями, неслись мимо, и сейчас наступил просвет: у скользкого крыльца застрекотали цикады.

Стараясь не замарать вешалку, Илья Петрович снял плащ, поцеловав мать в отвисшую щёку.

На подзеркальнике заблестел пузырёк:

— Ты просила лекарство.

Нина Михайловна вынула деньги, но Илья Петрович отмахнулся:

— Куда прикажешь?

Пёстрые обои скрадывали пятна, везде чистота, на подоконнике душно желтели флоксы, косили шеи гладиолусы.

Илья Петрович грузно опустился в шезлонг. Мать, горбясь на табурете, ревниво следила:

— Смотри, продавишь.

— Послушай, — взорвался Илья Петрович, — я же спросил!

Переезжая на дачу, Нина Михайловна пускала на лето квартирантов, и невестка не могла ей этого простить. Их

семья ютилась в коммуналке: тёрлись спинами на кухне, чихали из-за линявшей соседской кошки. «Свекровь — чужая кровь», — ворчали домашние, и Илья Петрович разрывался, как речной паром между берегами. Впрочем, его брак давно треснул, и в эту пропасть сыпались годы, изрешечённые склоками, в которых разменной монетой была дочь.

Теребя пуговицу, мать уставилась в стену.

— Ты бы открыла форточку...

Мать поёжилась, процедив сквозь зубы, что сквозняки опаснее динамита.

«Всех переживёт», — подумал Илья Петрович, целясь в дерево бегущей по стеклу капель.

Но Нина Михайловна не захотела комкать свидание — на скатерти появились чашки, заklubился чай.

— Этот злополучный шезлонг, — гремя блюдами, причитала она. — Ты же знаешь, как я люблю тебя — каждый день молюсь...

Илье Петровичу стало неловко. Глядя на лопавшееся пузырями варенье, он вспомнил, как в детстве, вычёсывая упрямые колтуны, мать обнимала его худую шею и, отложив гребень, ласково шептала: «Кровиночка, мой ненаглядный!»

Посыпал дождь, забарабанил по крыше всё сильнее, сильнее.

— Лиля звонила... — пробормотал он как можно безразличнее.

— Да? И как ей в Америке?

— Хорошо.

— Евреям везде хорошо.

Однажды он спросил, зачем она разлучила их, спросил с тупым равнодушием — пора желаний давно прошла. «Для тебя же старалась», — не повела она бровью. И Илья Петрович поразился искренности старческого лицемерия.

— Если хочешь, открой форточку.

Из затянутого марлей квадрата потянуло сыростью. Застыв у окна, Илья Петрович раздвинул поблёкший цветник, поскрёб ногтем запотевшее стекло. От мутной гряды вдруг оживших обид у него свело скулы.

— Как жена?

Илья Петрович пожал плечами. Он чувствовал себя зайцем, на которого охотятся с вертолёта.

— Это потому что сходились без любви, — вынесли ему приговор. — Вот мы с твоим отцом...

Илья Петрович вспомнил мелочное недовольство, нескончаемую охоту за пылью и скандалы через два дня на третий.

«Отчего Золушка терпела мачеху? — спрашивал отца маленький Илюша. — Почему не убежала за тридевять земель?»

Отвернувшись, отец невнятно бормотал, и на его сутулившейся спине читалось, что состарившемуся рабу не нужны оковы.

А теперь на Илью Петровича смотрел по утрам угрюмый мужчина, у которого волосы с головы всё больше перебежали на шею и который внутри старел быстрее, чем в зеркале.

— И для тебя я всё делала, — раздавалось, как в трубу. — До сих пор носки штопаю!

Илья Петрович уставился на ноги и густо покраснел.

Ливень унялся, только по стёклам ещё причудливо ползли капли. А перед Ильёй Петровичем, как в треснувшем зеркале, плыли университетские годы, бессмысленная, ради куска хлеба, работа, больная дочь. Врачи рекомендовали ей дачу, но Нина Михайловна не приглашала. «Будь я моложе, — из года в год твердила она, — а за ребёнком глаз да глаз нужен».

Тяжёлые ветки скребли жёсть, тоскливо елозили по шершавому скату.

— Я так одинока! С тех пор, как умер твой отец...

За мужем она была, как за каменной стеной. «Жизнь не объяснишь одной фразой», — качал сединой отец. «Одни везут, другие погоняют», — возражал ему Илья Петрович, когда достиг его возраста.

А Нина Михайловна всё лила воду на свою мельницу.

— Тебе меня жалко? — добавила она последнюю каплю.

Схватившись за виски, Илья Петрович закричал.

Сказано: «Чти отца и мать свою». А о любви ни слова. «Тяжёлая ваша порода», — угрюмо приговаривала жена. Он и сам чувствовал неперерезанную пуповину, видел в себе чужое, инородное тело, помимо его воли мать жила в нём, её привычки липли, как тень. И хотя бунтовать против природы, что плевать против ветра, на душе у Ильи Петровича скребли кошки.

Нина Михайловна кусала рдевшие губы, обжигая взглядами, грозила переписать завещание, пугала Богом.

— Ты скоро пожалеешь!

— Неизвестно, кто вперёд!

Хлопнула дверь, на веранде щёлкнул телевизор. Илье Петровичу сделалось стыдно, помявшись, он взялся за плащ.

Набухшая листва едва шевелилась, в кустах глухо щebetали сойки. Пока он возился с калиткой, у соседней двигались занавески.

«Сердце не камень, — будет жаловаться им Нина Михайловна. — Кому он, кроме матери, нужен?»

После грозы было свежо, клочками бежало небо, по заборам буйно тянулась крапива. «Бывает, счастье само в руки идёт, а схватишь — чёрная дыра», — вынырнул из-за поворота бомж. Илья Петрович кивнул, прибавляя шаг. Но бомж, брызгая лужами, стал бубнить про несносное житьё, про то, как ему все завидуют. Илья Петрович вскинул бровь. «Не умер — и то завидуют».

И Илья Петрович опять согласился.

На станции он угостил бомжа водкой, выпил сам, пропустив свою электричку.

— А ты в Бога веришь? — вдруг спросил он.

— По-разному, — оскалился бомж, косясь на стенные часы. — Сейчас, без двадцати десять — нет.

«Всему своё время, — подумал Илья Петрович, — время прощать и время не быть прощённым...»

В тамбуре он много курил, сосредоточенно глядя на черневшие леса, избы, затопленные пруды. Все его дни нахлынули одной мрачной тучей. Куда идти? Всюду чужие! Но кто виноват, родная мать ест...

Сквозь бугры замелькала луна, поезд с треском глотал шпалы. Вдруг он с визгом затормозил на мосту. Гнулись пролёты, чернела внизу река. «Старому рабу не нужны оковы», — подумал Илья Петрович, прислонившись лбом к стеклу, потом навалился, стараясь отжать резиновые створки, представляя, как вылезет на рельсы и, неуклюже перевалив через перила, полетит в густую, тёмную воду. Двери не поддавались. Илья Петрович напрягся, просовывая в щель локоть, протиснулся плечом и вдруг на плешивой макушке почувствовал тёплую ладонь: «Ты моя кровиночка...»

Тяжко вздохнув, застучал поезд, опять поплыла луна.

Илья Петрович забился в угол и плакал, плакал...

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

РАССКАЗ ЖИТЕЛЯ ХИМСА

Я Ибн Фирас аль-Харис, свидетельствую перед Аллахом, что дервиш пришёл в наш город, волоча, как хромую ногу, свою тень, в первую джуму месяца реби-уль-эвеля, на триста втором году Хиджры. Горбатый и худой, он был похож на переломленную палку, а низко надвинутая чалма прикрывала его кривой глаз. Стуча по пыльной улице суковатым посохом, он сразу направился в мечеть. И не выходил из неё целый год. Намотав на голову покрывало, он расположился у колонны, мимо которой проходило множество людей, и непрерывно молился. Вскоре слух о его святости распространился по всему Халифату, и в наш город потянулись паломники, скрывавшие под тюрбанами страшные язвы, которые надеялись исцелить, прикоснувшись к его шерстяным шароварам. За его благословлением к нам стали сворачивать даже верблюжьи караваны! Только напрасно. За всё время странник не проронил ни слова. Он оставался нем, когда цепкие пальцы хватили его власяницу, а когда не молился, перебирал чётки, и в глазах его светилась неизбывная грусть. Но самым удивительным было то, что он ничего не ел.

Не иначе Аллах поддерживал в нём силы!

Слава о немом из Химса облетела все концы света, и мы не успевали строить караван-сарай и печь на продажу ячменные лепёшки. К нему приводили расслабленных, прося возложить руки, и собирали прах с земли, по которой он ступал. И вот вчера, после пятничного намаза, когда народ как обычно столпился вокруг чудотворца, к нему протиснулась женщина. Её лицо искажала ярость!

— Это Юсуф ибн Мактум, — вцепилась она ему в бороду, — я узнала тебя, подлый убийца!

Её чуть не разорвали. Но святой жестом удержал заступников.

— О, слепая! — набросились на неё правоверные. — Это один из семи величайших святых, кто познал облик Аллаха и кого спасёт Владыка времени!

Но женщина продолжала вопить, что Юсуф ибн Мактум убил её сына.

— Это вы слепцы, раз поклоняетесь шайтану! — обращалась она к толпе, указывая на Юсуфа пальцем. — Пусть он ответит, пусть поклянётся на Коране, что не виноват! А в доказательство своей правоты я скажу, что это мой сын, защищаясь, выбил ему глаз.

Все обратились к дервишу. А он, сократив молитву, стал кататься по земле, так что его чалма задралась, открыв пустую глазницу. Потом, отряхнувшись, обратился к горожанам, которые были счастливы услышать его голос:

— Женщина права — уже год я предаюсь покаянию из-за преступления, о котором она говорит. В одном духане я пил вино с её сыном и жестоко поплатился за нарушение шариата. Вспыхнула ссора, он ударил меня в глаз ножом, а я этим же ножом убил его. Но скажите, правоверные, разве я проронил хоть слово? Я дал обет молчать до тех пор, пока Аллах не пошлёт знамения, что простил меня. Я и сам хотел отыскать эту женщину, ибо одного покаяния недостаточно. И вот Аллах свёл нас лицом к лицу, значит,

моя молитва услышана! Не мешайте справедливой мести, на всё воля Аллаха, отдайте меня в её руки!

На мгновенье все будто пчелу проглотили, а потом поднялись вопли, и люди стали просить дервиша помолиться за них. Но он решительно раздвинул толпу и медленно направился к дверям вслед за женщиной, собравшейся просить нашего кади — да продлит Аллах его годы! — казнить убийцу.

И тогда я не выдержал.

— О, правоверные! — бросился я к выходу, спиной прикрывая дверь. — Велик Аллах, и трудно толковать его знаки! Быть может, Он привёл сюда эту женщину, чтобы испытать наши сердца?

На меня недоумённо покосились.

— Да-да, — продолжил я, — Аллах очистил этого человека от греха, недаром же он совершил чудо, голодая целый год! Так неужели мы не выручим его из беды? Ведь этим мы оскорбим Аллаха! К тому же разве вы забыли о той защите, которую даёт городу присутствие святого?

— Но как нам сохранить её? — перебил меня седой мулла.

— Упросите мать принять выкуп за сына!

Дервиш стоял, потупившись, а женщину уже окружили с мольбами.

— Один волос моего сына не стоит тысячи выкупов! — возмутилась она. — Сначала этот враг Аллаха совершил убийство в Багдаде, а потом явился сюда разыгрывать из себя праведника? Да ударит ему в лицо его праведность! Лучше остаться бедной вдовой, чем не отмщённой матерью!

Но её продолжали упрашивать.

— Возьми вдвое больше! — предложил я.

Она отказалась. Наконец горожане увеличили выкуп десятикратно.

— Соберите деньги, — нехотя согласилась она. — И если я почувствую, что смогу простить, то приму их, а если нет — потребую смерти.

По рукам пустили чалму. В неё полетели золотые динары, серебряные дирхемы, даже нищие бросали свои медяки. Набралось девяносто девять тысяч.

— Нет, я не возьму ничего, кроме жизни убийцы! — отвернувшись, воскликнула несчастная мать.

Тогда мужчины стали бросать на одеяло кинжалы с драгоценными камнями, а женщины снимали украшения. Отдавали последнее, а кому нечего было дать, жестоко страдали, чувствуя себя отверженными. Когда одеяло уже нельзя было связать в узел, женщина не устояла.

Весь день горожане праздновали победу. А ночью святой исчез. Видно, Аллах — да сбудется над нами Его милость! — взял его на небо прямо из мечети, сотворив ещё одно чудо.

РАССКАЗ ЖЕНЩИНЫ

Я Фатима из Багдада, свидетельствую перед Аллахом, что только покорность мужу привела меня в Химс, где у меня не было знакомых, кроме одного. В жаркий полдень месяца реби-уль-эвеля я остановилась на постоялом дворе, где вместо ворот вился плющ. Всех дел у меня было замешивать ежедневно две трети ратля изюма с таким же количеством тёртого миндаля, скреплять эту смесь собственной слюной и в полдень класть на чистый кирпич в месте для омовения рядом с мечетью. В другое время мне оставалось кусать намазанные имбирем губы и наблюдать, как дикие осы точат жала о сухие листья плюща.

Тихо и незаметно, как под чадрую, прошёл год, в течение которого я проникала в мечеть, надеясь увидеть на лице своего знакомого тень раскаяния. А вчера я разоблачила Юсуфа ибн Мактума. Я потребовала, чтобы его выгнали из мечети и отвели к судье. Но горожане, как и стены мечети, уже срослись с его славой. Они бурно протестовали, а один молодой красавец предложил собрать для меня выкуп. Он был огромен, но я нашла в себе силы отказаться. Они удесятирили его, на одеяло полетели драгоценности, и тут я дрогнула. Не знаю, что подействовало на меня больше — их деньги или их порыв.

«Для одной это целое состояние!» — бросила я на пороге Юсуфу ибн Мактуму. И заметила в его глазах злость.

А теперь я бреду по дороге в Багдад, размышляя, правильно ли поступила.

РАССКАЗ ВОРА

*М*оё настоящее имя аль-Мухаллаби. Мошенник из Багдада, я происхожу из семьи бродячих актёров, но — слава Аллаху! — я рано понял, что на земле играют одни, а выигрывают другие.

Ещё в юности меня за проделки били плетью на торговой площади Химса, и палач, промахнувшись, хлыстом выбил мне глаз. С тех пор в моём сердце поселилась ненависть! Я решил отомстить жителям Химса, богатым и глупым, а заодно и разжиться. Мой план был хитроумен, недаром меня прозвали «эмиром плутов». К тому времени я изменился до неузнаваемости — дороги поселились у меня на лице морщинами, а горб из тряпья согнул в три погибели. Перебирая чётки и непрестанно молясь, я рас-

положился у колонны в мечети Химса. Поначалу на меня обращали внимания не больше, чем на мышь, но потом заметили, что я не прикасаюсь к пище. Расчёт оказался верным — люди падки на чудеса и готовы ослепнуть, чтобы в них поверить. Ровно в полдень я спускался по ступенькам к месту для омовения перед молитвой и незаметно съедал смесь, приготовленную моей женой. Куски этой смеси не трогали, принимая их за овечий кал. А ночью из сосуда для омовения я пил, сколько хотел. Со мной пытались заговорить, но я упорно хранил молчание.

О чём беседовать с глупцами?

Так прошёл год, и близилось время, когда наученная мною Фатима должна была разоблачить меня. Мне требовался сообщник, кто натолкнул бы простодушных мусульман на мысль раскошелиться. Тут подвернулся красавец ибн Фирас аль-Харис, про которого говорили, что его улыбка ничего не значит, что она только часть его лица. Сметливый малый сыграл роль безукоризненно! И горожане клюнули. Не знаю, чего здесь было больше — благородства или расчёта. Ведь они уже свыклись с известностью своего города, и им было жаль терять деньги, которые сами текли в руки. Мы заранее условились, что Фатима не поддастся на уговоры, пока выкуп не достигнет десятикратного размера. Но она пошла дальше. И отобрала у горожан всё, раздев их до нитки.

А наивный ибн Фирас аль-Харис напрасно старался: ему не видать доли, как своих ушей. Недаром я целый год питался изюмом с миндалём — теперь я сполна вознагражу себя за лишения!

Я знаю, что совершил грех, однако у меня была веская причина. Всаднику легче, чем лошади: вскоре после свадьбы Фатиме надоело латать дыры, и она, стаптывая башмаки, всё чаще ходила на базар, косясь на шёлковые наряды. «Я стала похожа на гусеницу, которая во сне видит

себя женщиной», — жаловалась она зеркалу, в котором видела, как я краснею.

О, Фатима! Ты захотела присвоить деньги, но я нагоню тебя по дороге в Багдад!

РАССКАЗ ДЬЯВОЛА

Нро багдадского вора болтали разное. Мол, язык у него намазан мёдом, а пальцы, к которым всё прилипало, свиным салом. Однажды, ещё мальчишкой, на базаре в Багдаде он запустил руку в карман усатого набатейца, торговавшего рыбой. И с криком отдёргнул — его укусила ручная крыса, которую тот прятал в кармане. Набатеец расхохотался и с такой силой сжал ему запястье, что оставил синяки. Аль-Мухаллаби ударил его, метя в глаз, но рост позволил ему дотянуться лишь до шеи. И усач расхохотался ещё громче... Прошли годы, у аль-Мухаллаби самого выросли пышные усы, и теперь, приходя на базар, он сам носил от воров карманную крысу. Однажды к нему запустил руку чумазый мальчишка и — вскрикнул от боли. Аль-Мухаллаби расхохотался и, схватив худое запястье, оставил на нём синяки. Но ребёнок, неожиданно подпрыгнув, ударил его по лицу. Сил у него было мало, однако он попал в глаз. С тех пор аль-Мухаллаби бросил ремесло карманника и ушёл из Багдада.

Говорили и по-другому, что в богатом городе Химсе его приговорили к плетям за мошенничество, и пока палач, привязав к столбу, истязал его на площади, аль-Мухаллаби обокрал его. За это рассерженный палач выбил ему глаз. Аль-Мухаллаби приготовил изощрённую месть. Он считал, что за увечье должны поплатиться все горожане! А когда

план удался, гордился, что обвёл их вокруг пальца. Не соби-рался он делиться и с сообщником, также жителем Химса. Но ибн Фирас аль-Харис был не настолько наивен. Тёмной ночью месяца джемаз-уль-акера он ждал аль-Мухаллаби за воротами мечети, грызя яблоки, которые срезал с ветки кривым ножом. А потом, сунув нож за голенище, скользил за ним бесшумной тенью, помечая дорогу огрызками.

Аль-Мухаллаби нагнал Фатиму в чайхане «Смерть на троих», прозванную так за вино, которое подавали из-под полы. Было темно, и чадящий на стене факел едва освещал лозы «бешеного огурца», который, спускаясь, лез в тарелки. Плеснув в стакан, аль-Мухаллаби разговаривал с женой, упираясь под столом коленями в тюк с драгоценностями. Он упрекал её в измене, в том, что её поведение чуть не испортило всё дело. А этот намёк про целое состояние для одной? Чтобы позлить его? Потупив взор, Фатима не-внятно оправдывалась. И тут, раздвинув живую изгородь, на пороге показался ибн Фирас аль-Харис. Поначалу он хотел только взять свою долю. «Клянусь Аллахом, — сту-чал он себя в грудь, — нет большей низости, чем обмануть доверившегося!» Аль-Мухаллаби, чтобы выиграть время, начал плести про уговор, который, конечно же, соблюдёт. При этом он опустил руку под стол, чтобы достать горсть монет, причитавшуюся ибн Фирас аль-Харису. Тот, было, согласился, но, когда тюк приоткрылся, в нём проснулась жадность. И, не удержавшись, он всадил в сообщника кривой нож.

Так он попал ко мне.

Передают также, что его погубила не алчность, а страсть. Пока аль-Мухаллаби разыгрывал роль благоче-стивого паломника, он стал любовником Фатимы, которую не захотел терять.

На земле играют одни, выигрывают другие, но судьба всех пронзит своим острым копьём.

РАССКАЗ БОГА

(откровение муллы из Химса)

Сюжет трагедии повторяется бесконечно, и действуют в ней всегда четверо. Это — муж, его жена, её любовник и хор. Муж, обманув хор, пытается вернуть расположение жены, но, погибая, оставляет по себе недобрую память. Жена, предпочтя любовника, скоро убеждается, что сменила правую руку на левую, одну каплю на другую. Любовнику, добившемуся своего, достаётся чужое. И в конце всех троих ожидает ад. Там они узнают, наконец, свою истинную роль в представлении. А сводится она к тому, что, благодаря им, благочестивый хор обрёл рай.

Блаженны простодушные!

У ЗЕРКАЛА

— *И* чем они лучше?
Худощавый, с нервным лицом и тонкими пальцами — такие седеют в юности.

— Чем осчастливили человечество? Почему у них всё?

— Зависть разъедает...

— Тогда почему всё на ней держится? Почему все мечтают стать как они? А если я из тех, кто всегда виноват в пропущенном мяче?

— Неудачник?

— На психоаналитика, однако, скопил.

Я сидел у кушетки с блокнотом, и ему казалось, что я веду записи, но я городил из клеток детские домики.

— Я из маркетинговой компании... Представляете, что это такое?

Я кивнул.

— Телексы, факсы, по телефону до хрипоты. Чтобы какая-нибудь дура купила лифчик. А с лифчиком и себя продаём. За три копейки. А кто за четыре — свысока смотрит. Закурю?

Затянувшись, он разогнал дым ладонью.

— Раз на корпоративной вечеринке спросил: неужели цель жизни — сколотить состояние, а потом — в гроб? Покосились, как на ребёнка. Но я, звякнув вилкой по бокалу, предложил тост за взрослую жизнь. Один кивнул, у

остальных — презрение. А начальник по плечу похлопал: «Пора баиньки». И такси вызвал.

— Боитесь работу потерять?

— Боюсь. Больше — только смерти. Но это отдельный разговор. Когда неприятности, бывает, представляю, что умру.

— И помогает?

— Да. Пока не холодею от ужаса.

Поплевав на окурок, положил в карман.

— Женаты?

— С института. Срок предостаточный, чтобы жена отводила душу с подругами, и муж был ей, как душ.

Хрипло рассмеявшись, он закашлялся. Я протянул воды.

— Дети?

— Уже взрослые. Как-то с сыном повидаться хотел. «Да, пап, конечно, вот с делами развяжусь». И оба знаем, что никогда не развяжется. И у дочери своя жизнь... Ничего, что разнылся?

— Вы же заплатили.

— Простите, когда с утра до ночи о деньгах...

Он сделал большой глоток.

— А звонят мне только по делу. У каждого свой футляр — мир-то вокруг страшный! Я вот в метро спускаюсь, будто в серпентарий, — жду, кто укусит.

— Давно отпуск брали?

— Давно.

— Съездите к морю.

— А мысли в багажном отделении оставить? — скривился он. — Нет, доктор, что-то вокруг неладно, от одиночества засыхаем, как в пустых колодцах, а барьеры возводим, будто под одеяла глубже зарываемся, думаем, теплее станет. А счастье? Только в детстве?

Отставив пустой стакан, пожал плечами.

— Я костлявый был, лопатки выпирают, мать перед сном убаюкивает, волосы гладит: «Ах ты, мой ненаглядный худыш!» Но теперь понимаю, не меня она любила — свою любовь. Истеричка была — Царство ей Небесное! Бессердечная, а чуть что — заслуги выставляла: «Ты мне по гроб обязан», — так что убежал в слезах. Комплексы прививала.

— Какие?

— Вины. Женщины по природе политики, также за словами прячутся. Точно мыши в листве — шуршат, а не уцепишь. А за скользкой улыбкой вдруг такое мелькнёт — мурашки по коже! Так и подмывает спросить: «А сами-то вы разделяете свои убеждения? Или “правда” — это то, что хотят от вас слышать?»

Он вынул новую сигарету. Я нарисовал очередной домик.

— Старость, наверное, но я часто думаю: а зачем эта цивилизация-конвейер? Все эти машины, гамбургеры, офисы, банковские счета, утилизированные отходы, инкубаторы для птиц, рыб, людей? Конвейер — от роддома до колумбария...

Он всё чаще смолкал, нервно сминая окурки. А мне передавалось его отчаяние. Что ответить? Мы все разные, но есть ракурс, в котором вдруг видишь себя. Он был как зеркало. И таких в моей практике всё больше. Чем им помочь? Выписать транквилизаторы? Дать пустые советы? Вселить надежду? На что? Кругом ложь, лицемерие. У меня большой опыт, я заговариваю боль, как цыганка. Но облегчить — не вылечить! Вот и приходится прятать глаза в детские домики, чтобы вдруг не признаться, что и сам давно не верю ни в человечество, ни в его светлое будущее. А в университете меня дразнили: «Нет бога, кроме прогресса, и N.N. пророк его!» А что прогресс? Телевизор, который оскорбляет разум? Газетная жвачка? Журналы, предлагающие счастье в глянцевой упаковке? Города, за-

битые холодными, равнодушными улыбками, в которых не говорят, что думают, и не делают, что говорят? Какой смысл в моей работе, раз ничего нельзя изменить? Конечно, вида не подал, пошутил — в тысячный раз! — что и сам не трудоголик, потому как родился в воскресенье, увидев мир сначала ступнями, и с тех пор у самого всё через одно место. А когда он ушёл, сделалось невыносимо...

— Это и значит взять чужую боль.

— А может, мы, как вурдалаки, не выносим своего отражения?

Свечи уже погасли, церковь опустела, и мы стояли у алтаря, как у гроба Господня.

Он усмехнулся:

— Но мне-то тяжелее, я знаю о корнях отчаяния.

— Я тоже.

— Да нет! Я о земном, о неврозе живого товара. Рынок! К людям — как к вещам! Успех означает дороже продаться, неудача — продешевить. Я таков, каким меня хотят видеть! Стою столько, сколько за меня дают!

Он рубил воздух ладонью:

— А мои коллеги чему учат? Что воспитание и образование направлены лишь на адаптацию, а ум и талант тождественны приспособленчеству. Но животное приспособляется инстинктивно, у него и выбора нет — либо приспособиться, либо погибнуть. А человеку предназначено мир менять. Значит, нас призывают стать животными? Поворачивают эволюцию вспять? Некоторые утверждают, что и личность — химера, пустота, что мы проявляемся только в отношениях. Радуются, что общество превратилось в «мегамашину», где всё функционально и каждому отводится законное место. А тесты? Эйнштейн и Дарвин не прошли бы их! Извините за лекцию.

— С Божьей помощью разберёмся.

— Да я не об этом!

Его лицо стало злым.

— Все эти академические дебаты, международные конференции — кормушка для попугаев. В научном мире не говорят о деньгах? Но постоянно думают! И молчат о «хроноциде», за которым забывают о смерти, о жизни, о том, что человек. Может, это и есть счастье?

— Без Бога нет счастья.

Он будто не слышал.

— В нашей цивилизации все больны, все — изгои. Для кого же она?

— Такие к вам, видимо, не обращаются.

— А им и не помочь. Они, как железные опилки, подчиняются невидимому магниту. Иногда думаю, люди ли они? А может, дело во мне? Или в магните?

— Вы что, бунтарь?

— Помилуйте, как можно изменить болото? Разве осушить?

Он вытер лоб. Я отряхнул рясу:

— У вас семья?

— Развёлся. Иногда на улице встречаю сына — с плеером в ушах, руки в карманах. Что думает? О чём мечтает? Между нами стена. Знали бы пациенты... — он поморщился. — А на психологию меня уговорили пойти родители. Хотели мною гордиться, потому что неспособны были любить. А университет выдал диплом — пропуск в ад. С тех пор я притворяюсь, будто знаю, как жить. А знаю только, как выживать. Вцепиться, словно в добычу, в свой жалкий мирок, ослепнув от страха, не выпускать из дрожащих пальцев! А зачем? Чтобы выжить! Замкнувшись в тесных, непересекающихся, обособленных мирках, как в крепостях, как в чёрных дырах, как в сотах. Но в отличие от пчёл, не имея общей цели!

— Надо любить ближнего...

— Как средство?

Я пропустил мимо:

— И надо сострадать.

— А свои проблемы? Нет, ближний интересен, поскольку нужен. А я, безусловно, нужнее! И в этом «я нужнее» вся философия, вся психология.

— Что ж, каждый вправе считать себя особенным.

— Считать-то вправе, но обязан скрывать. Особенное сегодня воспринимается как вызов, почти как оскорбление. А человек и рад не выделяться. «Как дела?» — «Хорошо». Как попугай, из года в год. А потом — умирают. С чего бы? Если всё хорошо?

Я поднял голову:

— Всё в руках Господа.

Он махнул рукой. Я сдвинул брови.

— А судить — это от гордыни. И Христос пришёл, как агнец.

Сглотнув слюну, он резко наклонился.

— Послушайте, Христа давно подменил Савл. И с тех пор все стали мытарями: устами славят, а в сердце предают! Всей жизнью предают!

— Так зачем вы пришли?

— Родители набожные, приучили. Да и некуда больше.

Он отвернулся к темневшему в углу распятию.

Я уставился на оплывшую свечу.

— Но чего вы хотите?

— А вы разве не догадываетесь?

Я развёл руками.

— Я не хочу жить.

Он произнёс это так просто, будто речь шла о чём-то само собой разумеющемся. Я взял его за руку. Долг велел мне напомнить о смертном грехе, укрепить, поддержать. Но как? Принять исповедь? Отпустить грехи? Вера моя, как ограда покосившаяся. Если пошатнулась, как подправить? И теперь слова не слетали с языка, точно смоквы с бесплод-

ной смоковницы. Я тронул крест, но протянуть для поцелуя не решился. К чему утешение, если ничего не изменить? Сгорбленная спина медленно исчезла за дверью. А я молча глядел вслед. Я разделял отчаяние ближнего. Но не любил его! Потому что давно не люблю себя. О, Господи! У зеркала, как на кресте, а глаза пастыря — что тёмные очки! Где мой народ, богоспасаемый, боговдохновенный? Отче, не оставляй нас! Без Тебя мы — звёзды, заблудившиеся в ночи, которые тусклее светляка в траве сорной, густой, текучей! Что Ты сделал с нами? Куда ведёшь? Или мы, слепцы без поводья, бредём неведомо куда? Совы среди дня! Дни, затерявшиеся в ночи! Ты принёс в жертву Сына — спасло ли это мир? Он по-прежнему равнодушен, как Пилат! Ты изгонял торгующих из храма — они изгнали Тебя! А убитые во имя Отца, Сына и Святого Духа? Если мир не исправить, им нужно пожертвовать! Как евреями в египетской пустыне! Зачем убивать, терзать, мучить нас поодиночке? Милосерднее уничтожить всех сразу! Созданные по образу и подобию, разве мы не Твоё зеркало?

И разве Тебе не хочется его разбить?

«СТАРЛЕТКА»

Анна Леонардовне исполнилось сорок лет, половину из которых она преподавала математику. Поколения студентов звали её «классной дамой», а коллеги считали «синим чулком». Анна Леонардовна знала об этом и гордилась. А дома, как тургеневская девушка, вела дневник.

«Вчера по дороге в институт почувствовала голод и забежала на рынок, — выводила она ровным аккуратным почерком. — “Мне, пожалуйста, булочку с корицей”. “Эх, девонька, — высунулась из ларька мордатая продавщица, — булку я тебе, конечно, дам, но жизнь-то всё равно прошла”. Всю лекцию стояла в горле эта проклятая булка...»

Муж Анны Леонардовны служил в конторе с непронимым названием, которая покупала и продавала всё на свете. «Кто всю неделю воюет, тот имеет право», — встречал он её по пятницам, напиваясь до положения риз. Анна Леонардовна молча проходила в свою комнату. А один раз увидела мужа у помойки рядом с семейством бомжей. Он был трезв и гладил по голове малютку с золотыми кудрями, прижимавшую куклу с оторванной рукой: «Эх, ангелочки, каким ветром занесло вас сюда?»

С тех пор она прощала ему всё.

Супруги давно ужинали порознь и ночевали в разных комнатах. Даже телевизор у каждого был свой. «Я соста-

рилась», — рассматривала похудевшие руки Анна Леонардовна, намазывая кремом тонкую, золотистую кожу.

И ей делалась грустно.

Детей они с мужем не завели — сначала откладывали, а потом стало поздно. «Старосветские помещики», — вздыхала Анна Леонардовна, зачёркивая в календаре одинаково серые дни.

И собиралась провести их остаток также незаметно.

А через месяц стала любовницей своего студента.

«Бабы, как семечки, — хохотал Ксаверий Гармаш, — иметь одну — не почувствовать вкуса!» Высокий, сутуловатый, он поступил в институт после армии. Не ужившись с родителями, Ксаверий сменил квартиру в провинциальном захолустье на комнату в столичном общежитии. Вместо лекций он фланировал по институтским коридорам, засунув руки в брюки, точно проверял свое мужское достоинство, и всё время насвистывал.

А на переменах угощал сигаретами.

Из курилки тогда доносился его хриплый баритон: «Вы думаете, неравный брак, это когда он уже не может, а она ещё не хочет? Не-а, разница в возрасте и должна быть огромной!»

Вокруг восхищённо ржали.

«Бабы делятся на малолеток и “старлетов”, — разъяснял он. — Малолетке, которая ещё во вкус не вошла, и старик сгодится, а “старлетке” молодого подавай, горячего».

Ксаверий пустил в обиход это словцо, изменив его привычный смысл, и оно сразу прижилось.

Рассекая пространство длинным, горбатым носом, Ксаверий по-своему понимал относительность времени. «Для вас провести час за учебниками мало, — раздавал он подзатыльники в студенческой библиотеке, — а для меня — много». Сокурсники его боялись, он называл их

сопляками, и взгляд у него был такой тяжёлый, что его не выдерживало отражение в зеркале. До экзаменов было рукой подать, а в математике Ксаверий был ноль. «Ничего, у меня своя математика», — загадочно скалился он, трогая елозивший по шее кадык.

И, как гиена, вышел на охотничью тропу.

Он караулил Анну Леонардовну за воротами проходной, будто случайно провожая до аудитории, сталкивался в дверях, стараясь невзначай коснуться.

«Какой симпатичный», — безотчётно подумала она.

На следующий день её юбка была длиннее, а макияж строже.

Однако она постоянно ловила на себе его взгляд. Ксаверий жёг её глазами, поднимаясь в лифте, однажды прижался, будто нечаянно, будто стеснённый набившимися в кабину студентами. Она сердито обернулась, он покраснел, смутился.

«Я, как старая дева, у которой все мысли о цветах на подоконнике, — ругала себя вечером Анна Леонардовна. — А сама так и засохну, не распустившись».

Всю неделю она перебирала привычные занятия, но в мыслях неотступно возвращалась к неожиданному поклоннику. А в выходной отправилась по магазинам со школьной подругой.

— Слышала, Ленку Кузину машина сбила? — вертелась та, примеряя платье. — Ну, ту, с косичками, из параллельного класса.

Анна Леонардовна обомлела.

— У них за полгода третья смерть, — обернулась подруга. — Мне идёт?

Анна Леонардовна кивнула. «Надо жить проще», — подумала она. И, посмотрев на себя в зеркало, не держала:

— А на меня студент глаз положил...

— Да ты что! — всплеснула руками подруга. — Рассказывай!

Анна Леонардовна подвела тушью ресницы.

— Так уж всё рассказала...

В первый раз это случилось на кафедре. Она допоздна возилась с «контрольными», когда вдруг заметила склонившегося над ней Ксаверия.

— Что вам? — подняла она глаза, инстинктивно поправляя волосы.

Он странно улыбнулся:

— Вот, задачка не выходит...

— Какая? — задрожала Анна Леонардовна.

Всё с той же странной улыбкой он взял её за руку. Дальнейшее Анна Леонардовна помнила смутно. «Что ты делаешь... Что ты делаешь...» — повторяла она, кусая губы. Зажимая ей рот, Ксаверий завалил её на стол.

Дома она долго стояла под душем, смывая отпечатавшиеся на спине и размазавшиеся по локтям «контрольные».

«Безумие, безумие...» — сажала она в дневнике чернильные кляксы, не замечая капавших слёз. Но её переполняла жгучая радость, точно она коснулась далёкого, запретного счастья. Анна Леонардовна стыдилась этой радости, ей было невыносимо признать, что она отвечала на грубые ласки, и потому упрямо твердила, что с ней случился солнечный удар. На ночь Анна Леонардовна приняла снотворное и дала себе слово забыть происшедшее, как дурной сон.

А на другой день всё повторилось.

«У одного математика прочитала, что жизнь течёт вверх формул, — появилась запись в её дневнике. — Как это правильно, как правильно...»

С Анной Леонардовной творилось невообразимое. «Сорок пять — баба ягодка опять», — напевала она, разглаживая перед зеркалом морщины. И тут же обрывала себя с глупым смехом: «Фу, какая дура!»

Она отдалась вспыхнувшей страсти со всей нерастратенной энергией, наблюдая, будто со стороны, как рушится её прежний уютный мирок.

И всё же иногда на неё находило просветление.

«Боже мой, он совсем мальчик, — думала она, закрашивая хной серебро в чёлке. — Ах, всё равно...»

За месяц она похудела, её размеренные прежде движения стали порывисты.

«Ты красивая», — целовал её Ксаверий.

И Анна Леонардовна рделась, думая, что принимает комплименты от сына.

Муж стал пить больше обычного. Возвращаясь поздними вечерами, Анна Леонардовна пробиралась к себе в комнату, опасаясь встретиться с ним взглядом. Но десятилетия совместной жизни даром не проходят.

«Ты завела любовника?» — подстерёг на кухне муж.

Опустив глаза, Анна Леонардовна принялась лгать, как лгут все интеллигентки — сбивчиво, путаясь в словах.

«Рад за тебя, — остановил её муж. — Хоть один из нас ещё жив».

Ксаверий был властным, в нём чувствовалось животное, которому невозможно противиться. Анна Леонардовна называла себя самкой, но опять и опять представляла его чувственный рот, огромный фаллический нос, она снова воскрешала в памяти их встречи, и ей делалось жарко. Даже во сне она чувствовала сильные руки, жадно скользившие по телу, и готова была кричать, просыпаясь со съехавшим на пол одеялом. А закрывая глаза, снова видела Ксаверия. От него исходил запах козлиного пота,

который был ей противен и одновременно возбуждал до исступления.

В воскресенье Анна Леонардовна пошла в церковь, но всю заутреню простояла со свечкой у тёмноликой иконы Богоматери, не решаясь исповедаться.

А вернувшись, расчеркала страницы дневника. Ей казалось, что она доверяет бумаге все свои тайны, но рука вывела всего одно слово: «прелюбодейка».

Тогда она решила избегать Ксаверия.

Её решимости хватило на день.

И, податливая, как воск, снова подчинилась его воле. «Будь, что будет», — вспоминала она долгие зимние вечера, проведённые у телевизора. И уже не жалела о близости с Ксаверием. Природа брала своё: Анна Леонардовна с материнской нежностью гладила его жёсткие, непослушные кудри, и перед её глазами вставал муж, разговаривавший у помойки с дочкой бомжей.

Своей связи с «классной дамой» Ксаверий не скрывал. «Математика у меня в кармане, — хлопая себя по брюкам, бахвалился он перед соседом по комнате, — давай зачётку, и тебе подмахнёт».

Сосед ошалело моргал.

— Впрочем, относить много чести, — куражился Ксаверий, — хочешь, сама придёт?

— Ну, это уж слишком...

— А пиво поставишь?

Анну Леонардовну он дождался в гардеробе, притаившись среди груды висевших пальто. Приобнял, подавая шубу. Она испуганно отстранилась, краснея, как девочка.

— Ну, чего ты, — горячо зашептал Ксаверий, шаря под шубой ладонью. — Приходи ко мне вечером.

— Ты с ума сошёл, — задохнулась она.

— Зима, не на морозе же, — не отпускал он. — Скажешь, к отстающему.

— Гардеробщик смотрит...

— Я буду ждать!

Дома Анна Леонардовна не находила себе места. Она дважды полила цветы, приготовила ужин, разбирая старые вещи, то и дело бросала взгляд на часы. Стрелки были неумолимы. В семь она приняла решение и сразу успокоилась.

«Нет, это невозможно, — опустила она в кресло, — это выше сил».

Заслоня фонари, крупой сыпал снег, мокрые следы быстро заливала вода. Анна Леонардовна, прижимая сумочку, кивнула дежурной на вахте.

— Вы к кому?

— Ксаверий Гармаш, — выпалила Анна Леонардовна заученной скороговоркой. — Заниматься математикой.

Вахтёрша взглянула с недоумением:

— Так мне ж без разницы. К носатому много ходит.

Анна Леонардовна вспыхнула. Ей показалось, что она голая.

«Какой ужас, — бормотала она, быстро поднимаясь по лестнице, — какой ужас...»

Прежде чем постучать, Анна Леонардовна перевела дух. За дверью насвистывали.

— Уже восемь — не придёт.

— Куда денется? «Старлетки» все одинаковые, им ломаться поздно.

Анна Леонардовна побледнела. Её согнутые пальцы так и повисли в воздухе.

— А Ксаверия разве нет? — нагло улыбнулась ей девица из соседнего номера. И оглядев с ног до головы,

прошипела: — У нас к нему очередь — старушек вперёд не пропускаем.

Анна Леонардовна распласталась по стене, как бабочка. Потом, резко оттолкнувшись, бросилась по лестнице. Стук её каблучков глухо разносился по коридору.

На шум вышел Ксаверий — в трусах, с чайником в руке.

— К тебе тут «старлетка» ломилась, — состроила глазки девица.

Ксаверий захлопнул дверь. Сквозь густо лепившую порошу он ещё разглядел из окна медленно удаляющуюся фигуру с подрагивающими плечами.

— Пиво с меня, — тронул его сосед.

— Да иди ты! — скинул он его руку.

Опустившись на кровать, Ксаверий уставился на стену. Он вдруг представил всю свою жизнь, вспомнил вереницу бывших с ним женщин, и ему показалось, что он сам только фрагмент на бесконечно чередующемся рисунке обоев.

Дома Анна Леонардовна долго листала дневник, вырывая страницы, жгла в пепельнице. Потом вышла на балкон. Светила полная луна. «Старлетка», — посмотрела на неё Анна Леонардовна.

И, как опороченная девственница в морскую пену, бросилась на асфальт.

ЛЕГЧЕ ПУСТОТЫ

Аристарх Неволин был одинок, как огородное пугало, и жаловался на бессонницу. Его успокаивали, хлопая по плечу, угощали водкой. Запрокидывая голову, он пил, и его глаза постепенно светлели, а брюзжание, запутавшись в усах, не долетало до ушей. Наутро он боролся с похмельем, отбивался от ползущего за воротник страха и, взяв себя за шиворот, приковывал к письменному столу. Но годы прибывали, как мухи на падаль. Вокруг Неволина уже роились недописанные книги, взрослые дети, расплывшаяся жена, которой он один раз объяснился в любви и множество — в ненависти.

Работал он много. Замыслы ложились на бумагу, как масло на хлеб, но ему не удавалось оседлать время, он безнадежно топтался среди канделябров и бакенбардов, чувствуя свой век, как рёбра корсета. У него было мало блестящего, мало жёсткого, которое заглатывают, как крючок, а переваривают вместе с потрохами. От его умствований сводило скулы, от проповедей воротили нос.

По большей части ему хотелось тихо всплакнуть, уткнувшись в жилетку. Но её не подставляли, и Неволин злobilся.

Как-то в детстве его отправили в деревню, где со скуки он зажигал спички и палил на окне осенних мух. Ему не было стыдно, его руки были злы, а мысли — добры. Но с годами появилась жалость. «Козьявки...» — шурился он, подавая нищим, и теперь его руки были добры, а мысли — злы.

До поры Неволин ещё обманывал себя, но с годами мир делался, как на ладони, его ухищрения слетали жухлыми листьями, и мир стоял голый, как манекен за стеклом. «Сыны мужей — ложь, — повторял Неволин, — если положить их на весы, все они вместе легче пустоты».

Когда-то у него было много друзей. Но потом он понял, что на них нельзя опереться. «Кувшинки на воде», — ёжился он, перебирая череду обид, скопившихся во рту горькой слюной.

И его, как саван, накрывала пошлость. Она резала уши, от неё чесались дёсна и распухал язык. «Как ни крути, — возвратившись под утро, сопел сын, — главное в жизни — деньги». «В твоей», — отрезал про себя Неволин. Электричество едва разгоняло плывшие из окна сумерки, и мир казался серой кошкой, шмыгнувшей в подворотню.

«Пора уходить, — решил он, — пока не вытолкали».

Той ночью был парад планет. Гермаген Дуров сидел в ресторане и уже час беседовал с соседом, который забыл представиться. Зато о Гермагене знал всё.

— Человека можно увидеть в тысяче зеркал, — заявил он с напускным безразличием, — но его затылок всё равно останется на совести цирюльника... — Близоруко сощурившись, он распорол взглядом Гермагена. — Вот что, к примеру, сказал бы о вас граф Толстой:

«На сорок втором году жизни Гермаген Дуров был лысоватым, серьёзным человеком, всегда чисто выбритым и каждую минуту знающим, что будет делать в следующую. Его Бог был опрятным и аккуратным, отсчитывая такт Вселенной, он раскачивался, как китайский фарфоровый мандарин, и в устроенном им мире для Дурова всё было просто и ясно. “Зачем это? — удивлялся он, читая книгу, которую не понимал. — Всё оригинальничают...”

В университете и его мир бурлил, как лава, но потом застыл, привычно и удобно, и теперь Дурову ничего не хотелось менять. Порой он, как улитка, высовывался наружу, трогая усами ближние камни, ощупывая холодные, дурно пахнущие водоросли, и возвращался обратно в свой тихий, уютный дом, где всё было под рукой, убеждаясь, что живёт правильно, не волнуясь и напрасно не переживая. Он радовался, что постиг механизм мироздания, в котором тайны не больше, чем в арифметике. А если и есть что-то сокровенное, то это находится не внутри нас, а где-то в космосе, у далёких звёзд, и со временем непременно станет достоянием науки. “Зачем это?” — повторял он осуждающе, встречая всё выходящее за рамки его представлений, менять которые, считал он, было уже поздно.

Но на самом деле бытие страшило Дурова, как сумрак — ребёнка, и он сидел, запершись в комнате при зажжённых свечах. Происходящее он узнавал в основном из газет и в разговоре был всегда на коне, не замечая, что сегодня отрицает то, чему вчера поклонялся. Его трудно было сбить, он цеплялся за свою правду упрямо и безнадёжно, укладывая мир в азбучные истины и не отдавая себе отчёта в том, что делает это с испугу.

Не религиозен он был совершенно. Знал, что умрёт, как умерли родители, что поделаться с этим ничего нельзя, а значит, надо смириться, стараясь не думать о смерти, надо сосредоточиться на заботах и радостях, которые несёт день. Так нашкодивший ребёнок отвлекается мухой, чтобы не думать о порке.

Дуров не воровал, не подличал, был в меру искренен, любил жену, воспитывал детей. Не будучи добрым, он не был и злым. Сострадал, но как-то наполовину, думал, но на одну сторону.

Так живёт огромное большинство людей».

Незнакомец погладил бакенбарды.

— Нечего сказать — умел старик препарировать! — он стал серьёзен. — Только все его морали, списанные из Библии, несправедливы для человека, а слова — такая же правда, как и ложь. — Послунявив мизинец, незнакомец провёл по бровям. — Истина же в том, что Дуров разделял предрассудки своего времени.

Принесли ещё вина. Обдав кислым запахом, официант разлил его по фужерам.

— На времени гадают, как на кофейной гуще, — вздохнул Гермаген, глядя на всё, будто со стороны, — а оно течёт, как слёзы. — И, увидев вздёрнутую бровь, пояснил: — Это цитата...

— Цитата, что заплатка на штанах, — подзадорил незнакомец.

Гермаген промолчал.

— Выкладывайте же, — не вытерпел сосед, — вижу, у вас на языке вертится история про

ЗАПОЗДАЛОЕ ПРОЗРЕНИЕ

Гермаген пожал плечами.

— Ну что же вы, — затараторил незнакомец, — кому не известно, что *Тихон Евграфович Получасов мог часами рассуждать о времени? Казалось, ему известны все водовороты его реки, которая лежала для него в берегах, как в гробу. Но это было не так. На самом деле он не мог приноровиться к его бегу. Тихон Евграфович преподавал в университете и смотрел на настоящее, как на прошлое. «Время чудотворно, — вещал он с кафедрального амвона, — закатанная в него ложь становится правдой, а бездарное — классикой. Ему недоступно только будущее — его оно трогает лишь несбыточными мечтами... Поэтому, — добавлял он,*

заговаривая аудиторию, как больной зуб, — прошлое относительно, а будущее абсолютно».

Лицо у Тихона Евграфовича было вытянутое, как у барсука, и заросшее бакенбардами, а его язык не знал «да» и «нет». И когда, засучив рукава, он вёл длинные речи, слушатели едва сдерживали зевок».

Получасов не верил летописцам и, как касторку, не переваривал историков.

«Каждая капля Гераклитовой реки, — учил он, трясая головой, будто сгонял вшей, — несёт в себе вечность. Не смолкают вопли Иова, ежесекундно распинают Христа... Раз произошедшее происходит всегда. Вчера нас изгнали из рая, сегодня искусит змей, а завтра, как и на заре времён, совершится первородный грех...» Его уши, аплодируя, хлопали по щекам. «Мы несём время, как пыль на ботинках, — продолжал Тихон Евграфович, не замечая, что половина аудитории уже разбежалась, а другая спит, — и благодаря этому живые находят общий язык с мёртвыми».

«Это историки молятся времени, а История — вечности!»

Подтверждая его теорию, Получасова слушали поколения студентов, но годы тянулись за горизонт, как гуси, и брали своё. Профессор осунулся, его взгляд стал тяжелее свинца, а руки повисли по швам. «Моя голова, как червивое яблоко, — вся изъедена мыслями», — часто повторял он, страдая склерозом. Он вязал узелки на память, на его носу зарубкой болтались очки, и единственное, чего он не мог взять в толк, почему выражения, как руки, делаются с годами крепче, а язык — суше.

Ему стало казаться, что всё, происходившее с ним, снилось ему когда-то, и теперь он вернулся в свой сон. «Время ветвится, — подправлял он последние лекции, — однако ствол его сужается к концу времён».

А ещё он стал сомневаться. «Мои глаза всю жизнь слепила правда, — признавался он отражению в зеркале, — а уши глотали ложь».

Умер Тихон Евграфович в одиночестве. Он лежал спиной кверху, раскинув руки и обнимая свою тень, а его голова, отсечённая одеялом, хрипела, что жизнь — лишь длинное утро бесконечного дня, утро, завязанное в узелок на память.

— Бедный старик! — прошептал Гермаген. — Я слушал его лекции.

— Я помню, — доставая из нагрудного кармана очки, кивнул незнакомец. — Ведь Тихон Евграфович — это я. Да-да, — дёрнул он лицом, став похожим на барсука, — после смерти меня приговорили шататься по свету Вечным Жидом и приноживаться ко времени.

Гермаген pokrылся холодным потом. Теперь он увидел перед собой искажённое злобой лицо: профессор скрипел зубами и считал грехи, выдёргивая волосы из бакенбардов и складывая в кучу.

Цепenea от ужаса, Гермаген вскинул руки — и проснулся Аристархом Невוליным.

А Неволин ушёл. Снял квартиру с видом на двор, стены которой точил жучок, а потолок исчертили разводы. Он плевал в него, лёжа одетым на кровати короткими зимними днями, которые кажутся бесконечными, бил баклуши и умирал от тоски.

Природа обнажилась, скинув листву, и молчала между «да» и «нет». За окном густо валил снег, вписывая в земную книгу какой-то скрытый, таинственный смысл, но Неволин глядел на него непонимающе, точно на пробелы между буквами. «Что-то будет? — думал он, увидев прохожего, которому за воротник вместе со снежинками падала

тишина. — И за гробом, верно, будет валить снег, щемить сердце, и щека не будет находить щеку». В парадной хлопнула дверь, раздался звонок. Неволин вздрогнул и пошёл открывать. На пороге стоял уличный прохожий, его усы смёрзлись в сосульки, а на бобровой шапке таял холм.

— Извините, — потёр он руки и, сложив горстью, начал греть их паром, — шёл мимо... — Он боком протиснулся в коридор. — Дай, думаю, расскажу, как всё будет

ПОСЛЕ ЖИЗНИ

Он немного помялся и начал голосом дурного актёра:

— *Отцы и дети... Когда молод, думаешь: «Чёртовы отцы!», когда стар — «Сукины дети!»*

Его хохот разбрызгал капли с усов. «Главное — деньги...» — вспомнил Аристарх.

— Вот-вот, — поддакнул незнакомец, — а себя вспомните — галдёж, лай, неприличная жажда жизни...

Он уставился Аристарху в переносицу и продолжил, не мигая:

— *Разве старость отвечает за грехи молодости? А юность виновата, что глупа?*

Неволин пожал плечами.

— *С другой стороны, в нас живут все возраста, как в бабочке — гусеница, а в гусенице — личинка. И на последнем суде всех осудят... Но вы не бойтесь, из вас нарежут множество маленьких «я», разведут по углам, чтобы они не показывали друг на друга пальцем, и к каждому подойдут со своей меркой.*

Неволину стало страшно.

— С собой-то не уживёшься, — вздохнул он и представил рай, населённый отражениями. — Двойники переделаются ещё быстрее, — промямлил он. — «Я» — это преисподняя.

Незнакомец стал вдруг огромным и топтался, как слон в посудной лавке.

— Тогда какого чёрта? — закатился он грудным смехом и, не договорив, влепил пощёчину.

Неволин очнулся. За окном по-прежнему падал снег, и стол через локти давил в подбородок. Комната, как труп, пугала неподвижностью и тарасилась пустотой. Пахло морозом, а в прихожей медленно натекала лужа.

Гермаген Дуров был застенчив. Давая займы, избегал должников и извинялся, когда ему наступали на ногу. Как и все интеллигенты, он был обречён незаметно пройти по жизни, держась за поручни, чтобы не столкнули, и глядя под ноги, чтобы не упасть. Но во снах был бунтарём. Иногда он пересказывал их с тайной гордостью, выворачивая наизнанку, будто сон был явью.

Особенно часто он рассказывал, как давал

ИНТЕРВЬЮ

Это приснилось мне в ноябре, когда Стрелец прогоняет Скорпиона, и тот кусает землю холодными, безнадежными дождями. Вечером я запускал глаза в экран и плевал в него, натываясь на лгущие головы.

А ночью меня пригласили на телевидение.

Ведущий был боек, и его превосходство торчало у всех костью в горле. «Народ, как лента Мёбиуса, — глядел он двойной подбородок, — запускаешь в него “утку”, а она возвращается с противоположным смыслом».

Он сидел, растопырив глаза, и его щёки были шире плеч.

— Что я думаю об истории? — переспросил я, и меня поразил мой уверенный тон. — У вас есть кошелёк? — Журналист достал. — Положите, пожалуйста, на

стол... — Он был послушен, как костыль у калеки. — Вероятно, при вас больше нет...

С этими словами я наклонился и, не глядя, опустил деньги в карман.

— И всё? — рассмеялся журналист.

Тот, кем я был во сне, зевнул в волосатый кулак. В углу заворочалась тишина, которую мы оба не слышали.

— Не забывайте, — одёрнул журналист, — вы сделали это на глазах миллионов!

— А вот это и есть история, — безразлично констатировал человек, которым я был во сне.

А во сне Гермаген Дуров был Аристархом Неволиным.

Мир неизменен, как пыль, и вечен, как слёзы. Иногда нам кажется, что мы сотрясаем его столпы, но это колышется листок на его древе. Он не плох и ни хорош, а человек в нём, как росчерк пера, забытый автограф, которого не просили. Однако в нас заложено стремление быть иными. Когда Господь лепил человека, то на минуту отвлёкся и уронил подсыхающую глину. Человек раскололся, и с тех пор по земле бродят его половинки. Это не мужчины и женщины, это те другие, которыми они хотят стать. Говорят также, что создавая человека, Господь задремал, и податливая глина, следуя за Творцом, разделилась: одна часть отправилась в сон, а другая осталась в яви. С тех пор одна наша половина существует наяву, а другая — во сне.

Когда половинки встречаются, человек умирает, ибо встретиться со сном можно только на небе.

Неволин и Дуров были такими половинками, а мостом между ними был сон. Он переключал их времена, как коромысло шахматных часов.

Единственным, кто навещал Неволина в изгнании, был Онисим Слушко, который вместе с грязью на сапогах приносил хриплый голос и жестикуляцию немого.

Онисим был из хохлов и слыл книгочеем. За обедом он листал эпикурейцев, а в постель ложился с любовными романами. Онисим был не от мира сего, он мог часами распространяться, почему голова растёт кверху, а ноги книзу, и считать звёзды за облаками, ленясь пересчитать сдачу на ладони.

Чтение было ему необходимо, как воздух. Переворачивая последнюю страницу, он уже искал, куда бы сунуть нос, который, случалось, прихлопывали вместе с книгой. Однажды в автобусе он заглянул через плечо и проехал свою остановку, так и не оторвавшись от чужой книги. Натыкаясь, как слепой, на прохожих, он пришёл затем в дом к её владельцу.

Им оказался Неволин.

С тех пор они, как дрозды на одной ветке, — то дрались, то пели.

— С возрастом понимаешь, что мир существует лишь для тебя, — бывало, изрекал Онисим грудным басом, — он вертится вокруг твоего “я”, как мотылёк над лампой.

— С годами понимаешь, что не нужен миру, — эхом откликался Неволин. — Но и мир делается ненужным.

Слушко пучил глаза, которые, как у рака, торчали, будто на спицах.

— А главное, — ставил он точку, — так и не узнаешь, кто вёл тебя, думаешь — Бог за руку, а окажется — дьявол за нос.

А бывало, спорили, как глухари.

— Один халиф стрелял из лука в Коран, другой вместо себя отправлял в мечеть наложницу, — сверкал глазами Онисим. — В Ватикане заместником Христа делало золото, и бывшие пираты развращали там девственниц... — Он облизывал шершавые губы, по его тонкой шее елозил

кадык. — А разве мало было безбожных попов? Одних расстриг — толпы! — Он переводил дух. — Но хуже всего, что религии узурпируют Бога.

Пропуская банальности мимо ушей, Неволин ждал. И обычно Онисим не подводил.

— Однажды во сне я попал на небо, — раз признался он. — Я услышал неземные голоса — разговор шёл близкая и был понятен на всех языках сразу.

«Труднее перевести молчание», — подумал Неволин, уперев подбородок в ладони и распустив уши.

— Разглядывая летавших под ногами птиц, ангелы сгрудились на облаке и спорили о судьбе богоборцев. «Им простятся все выходки, — уверял один, — простились же речи Иову, и его пепелище расцвело». «Не сомневаюсь, — поддержал другой, евхий потихоньку свою тень, которая падала обгрызенной на поля и луга, — девяносто девять богоборцев угоднее Ему одного равнодушного». И рассказал

ЛЕГЕНДУ О БЕЗБОЖНИКЕ

Дело происходило на тexasской границе, в таверне, попавшей в перекрёстье дорог, будто в прорезь прицела. Была сиеста, от жары задышалась текила, в стаканы падали мухи, и тени зарылись в землю.

— Всех ведут неизвестными тропами, — вздохнул человек в чёрном плаще, потягивая матэ.

Его суковатая трость занимала стул, похожий на гриб, а локти — половину стойки. Ни бармен, ни веснушчатый сосед не поддержали беседу, но человек в плаще не смутился.

— Однажды в этот бар ворвалась шайка Живопыры Эрнандеса, — завернул он лицо в ладонь. — Головорезы праздновали освобождение под залог. Вы же знаете,

Все эти продажные судьи... — он брезгливо скривился: — Бандиты уже перевернули вверх дном окрестные городишки, поставили на уши деревни и приплясывали, как тени в аду. А посетителей, как сейчас, было мало. В углу вяло перебрасывались в карты пастухи, а за стойкой какой-то рыжий иностранец... Кстати, вы ведь тоже из дальних краёв — одежда не нашего края и без револьвера... — Сосед неопределённо кивнул. — Путешествуете инкогнито, ну-ну...

Человек в чёрном повернул кулаком нос, точно тумблер времени, и вернулся к прошлому:

— «Заведение угощает!» — бросил Живопыра тоном, которому не возразил бы и покойник. У него был тусклый голос и глаза, как пустыня. И вместе с тенью он тащил славу безбожника. Он застрелил капеллана, ограбил церковь и поджёг богадельню для ослепших от золота, — человек в чёрном поправил шляпу и безразлично зевнул. — Здесь в мексиканской глубинке всё, как в кино — стрелков больше, чем тарантулов, и убивают не пойми за что... — Он зажал чашку в кулаке и покопился на собеседника. Над стойкой плакало распятие. — Да, у нас этих деревяшек, как родительских фотографий, — перехватил он взгляд рыжего. — Индейскую набожность скрестили с испанским фанатизмом.

Поглаживая бороду, иностранец продолжал смотреть на резного Христа.

Из часов выскочила кукушка, и её тень стала клевать крошки на столе.

— Впрочем, о чём это я? — хлопнул себя по лбу чернявый. — Вернёмся к Эрнандесу. Он был плешив, с длинными волосатыми руками и грудью такой широкой, что в дверь входил боком. В гардеробе у него были два шестизарядника, истина, что все смертны, и набор мрачных улыбок. Бандиты расселись по лавкам, на

столы полетели сомбреро, а усы утонули в стаканах. Живопыра расставил пятерню и втыкал между пальцев нож быстрее, чем стучат кастаньеты. Но очень скоро ему это надоело, и он нацепил самую мрачную из своих улыбок. Потом, достав из рукава червового туза, сжевал, выплюнул на ладонь и рукой, которая не знала промаха, отправил в пепельницу на стойке. Бумажный шарик, описав в воздухе дугу, прилип к стеклу. У бармена задрожал затылок, но картёжники остались невозмутимы, как идолы ацтеков под испанскими палашами. Они продолжали метать колоду, где дамы били тузов, а шестёрки королей... — Чернявый прихлебнул матэ и указал на картёжников: — Можете спросить, и они скажут, что черви означают рыжих. У вас, кстати, волосы крашенные, или носите парик? — Незнакомец промолчал. — А вы сегодня не в духе... Ясное дело — жара! И тогда от неё скорпионы кусали себя, а у Живопыры чесались руки, которые нашли успокоение в пощёчине иностранцу. Топор судьбы не разбирает, вы не находите? Он, как шишка в лесу...

И тут дверь распахнулась, и в неё протиснулся крепыш с грудью шире улыбки и глазами, как пустыня. «Заведение угощает!» — бросил он, и за ним, расталкивая стулья, устремились мужчины в пыльных шляпах. Они тащили с улицы духоту, а их лица бились в шрамах, как рыба в сетях. Жара растворила время, и обезумевшая кукушка выскочила из домика быстрее своей тени. Рыжий иностранец с недоумением покосился на человека в чёрном — тот развёл руками.

Эрнандес уже сжевал червового туза и теперь подходил, придерживая уголками губ мрачнейшую из своих улыбок.

— Так это ты — царь прерий и укротитель мустангов?

Рыжий перевёл глаза.

— Ты говоришь...

Живопыра почуял неладное.

— Для чужака ты неплохо держишься, — засопел он, — но, может, спрячем языки и достанем ножи?

Рыжий опять посмотрел на чернявого, которого Живопыра, казалось, не замечал.

— Он чудотворец, — тихо сказал человек в чёрном, так что Эрнандесу показалось, будто прошелестел ветер, — он может превратить твою ночь в день.

— А я, — ухмыльнулся Живопыра, поигрывая пистолетом, — могу превратить его день в ночь!

Но в его выжженной пустыне промелькнуло сомнение.

— Умирая, отец сказал мне: не плачь — твоими слезами будут мыть ноги. И на мне трупов больше, чем колючек в хвосте у лошади, — он воткнул палец в распятие: — А это, это только обещает сделать дальноруким, а делает близоруким.

Он стал, как кактус, и, боясь наколоть глаза, от него все отвернулись. Как на кресте, повисло молчание.

— Богов давно порешили, — прочитал его неграмотный Эрнандес. — Теперь ни Бога, ни чёрта.

Человек в чёрном беззвучно рассмеялся, а рыжий удивился:

— Разве можно похоронить солнечного зайчика?

Все слышали разговор, игроки в карты и ухом не повели, зато бандиты наострили уши. Отступить было некуда, Живопыра перевернул револьвер курком вниз и почесал рукояткой подбородок.

— Вот и посмотрим, — надул он щёки, — если ты бессмертен, тебе ничего не сделается, а если только крут, заплатишь!

Теперь и бандиты почуяли неладное.

— Уймись, Эрнандес — урезонивали они, — видишь, человек не в себе...

Но Живопыра скалился, как крыса, и крутил барабан, собираясь пересчитать всех пулями. От его горящего взора перестрелка вспыхнула, как сухой вереск. Прежде чем умереть, Эрнандес положил на пол бывших друзей и, изрешечённый пулями, стал пропускать свет. Напоследок он выстрелил в рыжего. Увидев, что тот не падает, на радостях выпустил всю обойму.

— Опять твои козни, — вздохнул рыжий, когда дым рассеялся. — И снова гибель богов...

— Никакой отсебятины, — возразил чернявый, опираясь на трость, которая вела его к двери, — мы люди маленькие, это «Фатум», «Рок» и «Вещун», — он указал тростью на игроков, — кидают жребий, а мы подчиняемся.

Рыжий задумался.

— А всё же я возьму Эрнандеса с собой, — после некоторых колебаний произнёс он. — Эрнандес на секунду уверовал, а девяносто девять богоборцев дороже мне одного равнодушного... Кстати, его отец у тебя?

— Да-да, — согласился Неволин, выпуская кольца дыма и вспоминая Гермагена, — жизнь — сон.

— Только чей? — рассмеялся Онисим и поведал с чего все взяли, что

ЖИЗНЬ — СОН

У одного человека была жена, как роба заключённого, и дети — иллюстрации болезни Дауна. Рожая последнего, жена кричала так, что оглохла повитуха, и с тех пор не могла остановиться. Зато во сне мужчину

окружали женщины, грудь которых могла отдавить глаза, а ноги свести с ума евнуха. И они дрались туфлями за ночь с ним. В жизни ему везло, как утопленнику, его радости умирали, не успев родиться, и он бегал между их могил, как кладбищенская крыса. А во сне, прежде чем остановиться, шарик в рулетке спрашивал, на какой цвет он поставил. Днём он считал в кармане дыры, а ночью понимал, почему куры не клюют денег. Так его пространство раскололось, а время раздвоилось: с опущенными ресницами летело, как стрела, с поднятыми — текло по усам.

Но близкие грызли его, как сахарную кость, а жизнь была всё сильнее. Он еле успевал уворачиваться от её тычков и подставлять левые щёки, и оттого спал всё дольше. Он стал, как слепой: во сне видел море, скалы, темневших в ночи чаек, а наяву — ничего. В конце концов, он пробудился всего на минуту. «Жизнь — сон», — развёл он руками.

С тех пор его выражение прицепилось к миру, как репейник.

Жизнь большинства людей бедна событиями. Всё яркое в ней относится к разговорам, снам или книгам. Даже халиф с нетерпением ждал ночи, когда услышит сказку, и неизвестно, что вынесено за скобки бытия — тусклые будни или истории, которые их отрицают. Они светят нам огоньками в ночи, скрашивая путь между выверенными станциями, ибо вымысел пронзительнее реальности, как песнь ямщика — голой, заснеженной степи.

Жизнь — это тысяча и одна ночь. Смерть — тысяча вторая.

В тот вечер кружила метель, а ветер выл не своим голосом. Неволин сидел поперёк кровати, спиной к стене

и, болтая ногами, рассказывал Онисиму про уличного прохожего, похожего на снеговика, про то, как будут судить после жизни.

«Все готовятся к последнему слову, — внимательно выслушав, вздохнул Слушко. — Но по какому лекалу его кроить?» Он начал перебирать руками бороду, будто разыскивая там подходящую историю, но достал карандаш. И быстро набросал на салфетке

ГЕОГРАФИЮ СЛОВА

Когда на изнеженном Юге проповедовал Назаретянин, на суровом, как правда, Севере объявился Бурляй Тунгус. Он потеснил засиженных слизняками идолов и был проклят за то, что нарушил их поросшие мхом законы. Одни сравнивали его с северным сиянием, а другие — с водяным. Он был старше воздуха и обжигал, как лёд, ходил по болотам, как по мерзлоте, а клюквой питался с такой же жадностью, как и слухами.

«Плоть не может кланяться плоти, — учил он, взобравшись на холм, запорошенный жухлой травой, — у всех один отец — Великий Дух, и чтить родителей — значит грешить! — Тунгус был плешив, и снежинки шипели на его лысине, как на сковородке. — А разве на свете есть блуд? — надув щёки, выл он, как северный ветер. — Плотью нельзя согрешить, земле не осквернить неба! Воздай же земле земное, а небу — небесное!»

После таких слов Бурляя часто мазали тюленьим жиром и валяли в перьях, соединяя на его теле небесное и земное. Но он оставался неукротим. Его яловые сапоги топтали северное бездорожье, а в жилах закипала кровь, от которой пьянели комары.

«Кабан дерёт берёзу, волк — кабана, а охотник — волка, — косился он поверх косматых голов. — Так

устроил Великий Дух, а быть милосердным — значит бунтовать! — Бурляй медленно жевал слова, но они разлетались по округе гагачьим пухом. — Любовь делает слабым и немощным, — доносилось в ледяной синеве, — глупый лосось нерестится в верховьях рек, где кормит медведей и орлов. Любовь, как стрела, — отвлекает свистом, а несёт смерть...»

Короткими северными днями Тунгус кочевал по пропахшим кострами чумам, меняя своё слово на мех выдры и заворачивая его в шкуру росомахи, а полярной ночью, длиной в жизнь, гадал, воткнув палку в помёт. Он считал звёзды по их отражению в белесом ягеле и видел линии судьбы также отчётливо, как олени тропы. Его окружал холодный, неприветливый мир, от которого глаза заволакивала ряска. К нему приходили немymi, а уходили глухими.

«Любовь — это ненависть, — распинался он в нато-пленном чуме, кашляя от дыма, — Великий Дух ждёт от тебя не любви, а правды! А разве похвала создавшему этот кусок мяса не лицемерие? — здесь Бурляй бил себя в грудь, и кулак проваливался в густую шерсть. — Вот мои заповеди, — перечислял он, загибая пальцы и вынув тину из глаз: — Возненавидь ближнего своего, как самого себя, и возненавидь себя, как своего ближнего... — Бурляй повторял это семь раз, и от частого моргания его глаза зеленели. — А главное, возненавидь Великого Духа всем сердцем твоим, и всей душой, и всем неразумием! Отрекись от Него, как от самого себя, и перестань быть солью, которую лижут лоси!»

Постепенно Бурляй входил в раж, и тогда его за версту обходили звери, а птицы избегали пролетать над его головой.

Но ему всё было нипочём. «А молитесь так, — бесновался он, — о, Великий Дух, видим волю Твою на земле

и находим её злой, а на небе — не ведаем! Моржей и пушнину заведи Себе, ибо не хотим быть обязанными телом, но хотим — духом. Не прощай Себе грехов Своих, как не прощаем Тебе и мы их, и не введи нас в слепоту, но избави от лицемерия!»

У этого странного учения нашлись последователи, один из которых за бусы из тридцати моржовых клыков выдал Бурляя собранию шаманов.

— Любишь ли ты Великого Духа? — спросили его.

— Есть не могу — так ненавижу!

Его приговорили к колесованию. Он увидел в этом успех своих проповедей. Во время казни море вдруг заходило буграми, вздыбилось, буйно шлёпая о берег, и стало выносить на снег клубки водорослей. «Видно, он и вправду был великим пророком!» — зашептались вокруг. С тех пор сторонники Тунгуса стали обносить лицо сложенной в горсть ладонью, будто утирали. «Учителя больше не встретишь ни среди рыб, ни среди поедающих рыбу, — гордились они, — он погрел презрением земное пребывание, искупив его ненавистью».

Неволин родился старомодным. «Я уже слишком стар, чтобы читать их книги, — морщился он, когда речь заходила о современниках. — Или я ещё недостаточно стар, чтобы выжить из ума и читать их?»

Но современников он презирал не всегда. «Время укрывает нас, как песок страуса, — когда-то оправдывал он их, — эпоха заставляет плясать под свою дудку». Но эти слова не находили в душе сострадания. И постепенно люди стали для него безликими, как этикетки, со стёртыми судьбами.

А теперь Неволин дожил до седых висков, с появлением которых начинают обступать молодые тупицы, а мир делается простым, как фасоль. «Ваше серейшество», —

кривился он, видя, как меняется ветер эпохи, как задувает он человеческий пух, который легче пустоты.

К тому же он попал в чужое время, залезть в которое опаснее, чем в чужой карман.

— Не усложняй, — советовали ему, — если прищурить левый глаз, мир кажется иным, чем если правый.

— Это плохой писатель описывает то, что вокруг, — ворчал он, — хороший — то, что внутри.

И продолжал вкладывать в головы своих героев мысли, которых там не было и в помине.

Дуров тоже презирал современников. «Пошлость», — цедил он, когда разговор вертелся вокруг болезней, денег и «звёзд». Пошлость лезла изо всех щелей. Её излучали антенны, тиражировали журналы, приносили домой сыновья.

Старший ходил, как петух, и выплёвывал слова, как семечки. «Человек не аппетит, — острил он, — его перебить не страшно».

При этом он был мал, тщедушен, имел веснушчатое лицо с близорукими от компьютера глазами.

— Прогресс — это удобство, — крутился он на одноногом кресле, перебирая руками клавиатуру. — Христос бродил по водам, Мухаммед летал на коне, за аватарами Будды вообще не угнаться, а теперь все гуру сидят на сайте гу точка ру!

— Там сидят кенгуру! — злился Гермаген и всё больше чувствовал себя куклой с фабричной инструкцией вместо судьбы.

Он родился в большой коммуналке и теперь всё чаще думал, что так из неё и не вышел. «Стань хоть ветром в пустыне — кому-нибудь будешь мешать», — думал он, вглядываясь в темноту, и мир без Бога делался плоским, как ладонь.

А засыпая, он видел Неволина, который валялся на кровати и был одинок, как огородное пугало.

И для Неволлина итернетовский новояз отражал помойку жизни.

— Приметы времени, — замечал Онисим.

— Родимые пятна, — скалился он.

А в другой раз жаловался:

— Добро пожаловать на виртуальную свалку! Приглашаются орудия, бормочущие, мычащие, блеющие, косноязычные, спешащие осчастливить мир своими откровениями!

— Нам с тобой на другую свалку пора, — отшучивался Онисим.

А иногда тоже срывался:

— Я так представляю себе

СВОБОДУ ВЫБОРА

Витязь на распутье читает на камне: «Прямо поедешь — убитому быть, налево повернёшь — смерть найдёшь, направо — погибель встретишь». Почесал богатырь затылок, добрый конь под ним переминается, на челе задумчивость. И вдруг слышит голос: «Думай, гад, быстрее, а то прямо здесь прибрьём!»

— Ничего не попишешь, — поддакивал Неволлин, — теологию сменила технология.

— Да-да, — глядя сквозь него, ворчал Онисим, — Бог даёт не что просишь, а что находит нужным.

— А ты каким Его представляешь?

Слушко не раздумывал:

— Он лыс и печален.

Дни не подчиняются календарю, они не рождаются по часам и не заканчиваются в срок, но, бывает, тянутся всю неделю. Было утро среды, которая началась в понедельник

и не обещала стать четвергом. Обдавая жаром, на прутьях решётки, как повешенный, качалось солнце, а его блики мазали стены так густо, что они делались толстыми, как бутерброд.

— Это история мыслит поколениями, — скрестив ноги, философствовал Онисим, — а современники пишут для современников.

Он пристально посмотрел на Неволлина. Тот отвёл глаза.

— Хотите знать

ПРАВДУ О ГУБЕРНАТОРЕ

В начале прошлого века во Владимирском центре сидел за казнокрадство губернатор...

— Симония — первородный грех чиновников, — вставил Неволлин.

— Не в этом дело, — огрызнулся Онисим, — Россия без взяток, что телега без лошади...

А губернатор поплатился за то, что брал не по чину. Каждый сверчок знай свой шесток! Человеком он был малообразованным: считал по пальцам, сколько раз стучали перед ним лысиной о паркет, и, узнавая все буквы, не мог сложить слова. Время, как вода: на высоте губернаторского кресла оно не задерживается, зато скапливается в тюремных подвалах. «Положение хуже губернаторского», — шептал бывший глава, зачерпывая время ковшом и вспоминая, как раньше разбазаривал его вместе с чужим добром. Он уже стоял в нём по шею, не зная, куда девать, как вдруг сообразил, что чтение убивает время не хуже балов и заседаний.

— Принесите книгу! — выстукивал он миской на решётке.

Поначалу на него не обращали внимания, но потом решили, чем затыкать себе уши, заткнуть ему рот.

— И какую же вам угодно? — насмешливо спросил его тюремный библиотекарь.

— «Преступление и наказание», — донеслось сквозь железные прутья. — Говорят, такая книга...

Библиотекарь развёл руками:

— Нашли, что просить, на неё спрос огромный — всё время на руках!

И, помолчав, предложил «Бесов». Но бесов губернатору хватало своих, он в бешенстве стал топтать свою тень и рвать на части эхо. Библиотекарь ещё больше сгорбился, поправил заплесневевший сюртук, и на мгновенье у него проступил его возраст, который не выражался числом.

Известно было лишь, что он пересидел всех пожизненно заключённых, всех тюремщиков, сменил пять начальников, лица которых были страшнее их самих, а сердца жёстче подков, и, казалось, пересидит сами стены. Ходили слухи, что это Вечный Жид нашёл себе теплое место. Слыша это, библиотекарь близоруко шурился и приговаривал: «В царстве слепых и одноглазый — Бог!» Очки делали его важным, он сидел за конторкой, как филин на ветке, и различал книги по шуришанию страниц: трагедии листались тяжело, будто ворочались камни, а комедии легко, словно порхали бабочки. По субботам он устраивал лекции.

— Есть книги для медленного чтения, а есть для быстрого, — учил он, — прочитать «медленную» книгу быстро, всё равно что «быструю» медленно. Угол зрения тогда смещается, а из окна поезда собака кажется волком...

— Ясное дело! — перебивали его. — И букашка вырастает в слона, если пялиться часами.

Однако для библиотекаря это был глас в пустыне.

— Есть книги для жаждущих слова, а есть для тех, кто устал читать, — продолжал он. — Жизнь — это прогулка между книгами — от шкафов для любопытных до полки для тех, кому опротивели буквы...

— Ваш библиотекарь, — перебил Неволин, — напомнил мне

ВЕЧНОГО ЗАКЛЮЧЕННОГО

Один преступник получил от людей пожизненное заключение, а от Бога — бессмертие. Он пережил своих судей, надзирателей и тюремщиков, которые передавали его вместе с должностью и разохшимся креслом. Вначале он злорадствовал, глядя из окна на похороны палачей, грозил им кулаком и сулил преисподнюю. Но потом понял, что сам уже давно находится в ней, ибо бессмертие без свободы — ад.

Онисим сделал жест, из которого следовало как то, что он принял рассказ к сведению, так и то, что пропустил мимо ушей.

Библиотекарь стиснул зубы и, пересчитывая ступени вздохами, поднялся к начальству. «Дайте ему “Идиота”! — запрыгали там солнечными зайчиками. — Пускай читает!» Но губернатор тянулся к «Преступлению и наказанию», как сквозняк к спине. Он вспоминал обрывки разговоров, в которых мелькали герои романа, газетные похвалы, в которых было много правды, но истины ни на грош, отзывы, которые читал в глазах курсисток, вспоминал Петербург и встречу с автором, которому едва подал руку. И постепенно сюжет романа восстановился. Тогда губернатор потребовал чернил и, скорчившись в углу, стал его записывать. В этот час вся тюрьма делалась тиха и задумчива, а стены раздвигались на-

Встречу вдохновению. Поначалу выходило плохо, слова прыгали на языке, как блохи, и путались, как «угорь» и «уголь». Перо валилось из рук, губернатор падал от напряжения, но времени было, как ваты, и оно сохраняло ему равновесие. И постепенно дело наладилось. Теперь он цеплялся за клочок неба, удачную строку и подбирал метафоры с той же лёгкостью, как тараканов на полу. Роман пух на глазах, совпадая до буквы с оригиналом. Со стороны могло показаться, что он переписан, но губернатор и в глаза не видел подлинника.

«Что это?» — изумился библиотекарь, и его очки соскочили на нос, а брови повисли, как кавычки. Он заметался кукушкой в сломанных часах. Но потом успокоился, решив, что губернаторской рукой водило время, наполняя старые меха молодым вином.

— Мы пишем небесный диктант, — согласился Неволин, — лишь повторяя невидимые страницы.

Онисим откашлялся.

Забавно, что губернатор, написав «Преступление и наказание», совершенно преобразился, и, увидев это, суд его освободил. А в камере, где свершилось раскаянье, осталось нацарапанное на стене двустишие: «Над колодцем мы кружим, как птицы, но не можем в колодце напиться».

Онисим облокотился на стол и начал тереть кулаками слипавшиеся глаза.

Стало тихо, как в пустом кармане. Неволин уставился в точку, представляя прозрение губернатора.

— Да, искусство — великая сила! — пробормотал он. — А что было дальше?

— Дальше? — зевнул Онисим. — Обычная история...

Однажды губернатор сосчитал глотками бутылку коньяка, разбил её о мостовую и распутившейся «розочкой» вскрыл себе вены.

Развалившись на столе, Онисим упёрся щекой в переплетённые руки.

— Подражать — дело опасное, — пробормотал он сквозь сон. — Знал я одного — переписывал Жорж Санд, думал, руку набьёт, а кончилось тем, что стал женщиной.

Поначалу мир кажется старше тебя, но с возрастом — моложе. Гермаген Дуров уже видел его насквозь, как рёбра на рентгеновском снимке, и для него оставался лишь один секрет — почему реальность неуступчива, а цена расчётам — копейка в базарный день. С ним словно играли в кошки-мышки. Загадает встречу — она расстроится, поставит на чёрное — выпадет красное, задумает строить жизнь, как широкую лестницу, а она выходит суковатым бревном. Гермаген избегал ошибок, как волчьих ям, подгадывал и так и сяк, но всё случалось не «благодаря», а «вопреки». «Настоящее определяется не прошлым, а будущим, — успокаивал он себя, — которое водит его за собой, как собачку».

Женясь, Гермаген надеялся, что они с женой станут, как губы, которые соединяет молчание, а разделяют слова, но остался один-единёшенек, как нос на лице.

И Гермаген Дуров, которым был во сне Аристарх Неволин, повесив в угол время, исполосованное, как шкура тигра, семейными обедами и телефонными звонками, ушёл из дома, куда глаза глядят. Он и сам не знал, почему это сделал, не знал, что откликнулся на приглашение к чужому одиночеству. Он подражал, но кому — не ведал, он копировал, но оригинал был от него за семью печатями. Стоило Аристарху обжечь язык, как язык Гермагена вываливался изо рта, будто его укусила пчела. А если Неволин подхватывал насморк, Дуров чихал. Иногда сны Неволина повторялись, и тогда дни Гермагена становились похожими, как капли. Он метался

по сну комнатной собачкой, а его свобода определялась длинной поводка.

Однако на чужом языке говорят с акцентом. «В старости ничего не держится, — с кислой миной жаловался Неволин, — ни штаны на боках, ни язык за зубами». «Старость болтлива и пускает ветры», — сжимая кулаки, кричал во сне Дуров. Он говорил фразы, которых не понимал, но Неволин видел, что во времени Гермагена одиночество сверлит дыры, сквозь которые струится будущее, а его время дырявит единственный крюк, на котором оно висит полинявшей тряпкой. Отшельничество Гермагена было гвоздями, которыми строят дом, а его — теми, что забивают в гроб.

Осень принесла букву «р» в названиях месяцев. Гермаген брёл по бульвару, вытаптывая сапогами жухлую листву, косясь на сиротевшие на лавочках газеты, на скособоченные, черневшие урны, полные мусора и обрывков разговоров. «Москва — это блудница, — думал Гермаген, — она гуляет со всеми, не принадлежа никому».

Ещё недавно он мечтал быть один, но одиночество, как горчичник, — сначала греет, а потом делается нестерпимым. И Дуров толкнул дверь ночного кафе. Зал был пуст, однако за его столик тотчас опустился моряк. Его привыкшее к палубе тело раскачивало стул, волосы по-прежнему трепал ветер, а тельняшка пропахла солью, которая выступила на губах сразу, как только обсохло молоко.

Выпивая, моряк косил глаза к стакану и закусывал водку махрой. «У кого нет дома, тот умничает в гостях», — прочитал Гермаген татуировку, выползшую из-под задравшегося рукава. Моряк ухмыльнулся, и его лицо вытянулось, как у барсука.

— Чтобы жить, нужно мириться с абсурдом, — почесал он мочку уха, сделавшись вдруг таинственным и печальным. — Вот одна из историй, которые дарит

ВОЙНА

Мой дед застал ещё первую германскую. После ужина он снова попадал на неё, попыхивая кривой трубкой и разглаживая обкусанным мундштуком длинные усы. Ел он быстро, а говорил медленно, будто ступал по тонкому льду. У деда было маленькое, опрятное лицо, ямочка на подбородке — глубже рта, а скулы — шире улыбки. Он постоянно лохматил волосы пятернёй, и его глаза горели, как натёртые кирпичом медяки.

«Когда пришло время отдавать жизнь за царя, я был крепким двадцатилетним парнем, в самом соку, и девки, провожая меня, не жалели слёз. Стояла осень, в полях грудились клочья тумана, и чёрные галки с унылой тревогой кричали на пугало. Новобранцев побрили, выгнали мылом вшей, раздали серые шинели, сухари и погнали на станцию. Мы шли, чавкая по грязи, и глаза встречавшихся долго жгли потом наши голые затылки. Утирая платками лоб, за нами мелко бежали матери, отставая поодиночке, как брошенные в сторону спички, от которых прикуривали их сыновья. С непривычки ходить строем многие быстро устали и еле передвигали ноги. Небо слезилось мелким дождём, по обочинам дороги, сколько хватало глазу, желтело жнивье, и на душе было пусто, как в кармане у нищего. На станции, протыкая каждого пальцем, нас пересчитал офицер. “На войне либо грудь в крестах, либо голова в кустах! — заламывая козырёк, окидывал он каждого взглядом бездомного пса. — Повезёт — доживёшь до внуков, посчастливится — сдохнешь через неделю...” А потом по бумаге выкрикнули наши фамилии и погрузили в вагоны, которые раньше перевозили скотину, и запах коровьего помёта, ввевшийся в доски, сопровождал нас на фронт, напоминая о стаде, которое на закате

гонит с околицы пастух. А везли нас долго. Навстречу шли поезда с ранеными, которые мы пропускали, дико всматриваясь в заросшие щетиной, бескровные лица, беспокойно зыркали, ища увечья. Поначалу мы считали недели, валяя по полу солому, а потом привыкли и к раненым, и к бесконечным стоянкам, во время которых прыгивали мочиться в канаву, и к запаху дороги, поначалу резко ударившему в голову железнодорожными маслами и степным бурьяном. Сквозь щели мелькали верстовые столбы, и мы уже ленились припадать к дырам, чтобы взглянуть на плывущие города, иззубренные облака, синевшие леса, чтобы узнать, ночь на дворе или день. Нас везли и везли, и, казалось, наше прошлое отзвенело и забылось под сонный стук колёс.

Россия не миска щей, однако ж, и не океан — месяца через полтора доставили нас на позиции. Обучили, с какого конца заряжать винтовку, запихнули в окопы, из которых тянуло, как из могилы, показали ноздреватое от воронок поле, засевших на холме австрийцев и объяснили, что завтра штурм. Всю ночь мы не спали, бестолково тарачились на звёзды, нюхая сырость, курили и думали, какого рожна нас оторвали от тёплых риг, девичьего смеха и кукушки на заре?

А утром, когда холод катал по траве росу, повыскакивали из ям, побежали, ширкая голенищами сапог, путаясь в полах шинели, перекрикивая нестройным “ура” хохот пулемётов.

Я так ни разу и не выстрелил, забыв положить палец на спусковой крючок, держа винтовку, как кол в драке, но остервенеть не успел, а когда зацепило, осел, глядя в спины торопливо лезущих на высоту, падающих на свою тень. А потом, теряя кровь, сомлел, будто мальчишкой у костра под сухой треск горящего хвороста. А это, расплёскивая землю, рвались снаряды...

Ногу мне отрезали сразу, но месяца два я ещё болтался в госпитале, прыгая воробышком к умывальнику, запивая спиртом лекарства и приноравливаясь к суковатым костылям. Врач был добрым, чихая с табака, краснел лысиной и невесело шутил: “До свадьбы заживёт”. А потом нас, инвалидов, собрали и повезли обратно в Россию. И опять хлестал дождь, и опять, надрывая сердце, мы считали дни и вёрсты, мёрзли в теплушках и, пропуская встречных, жадно всматривавшихся в наши худые, небритые лица, прятали увечья.

Теперь вместо ноги у меня медаль, одинокая, как луна, она светит тускло и совсем не греет...»

— Да-да, — отозвался Гермаген, — война не безумство, а тихое помешательство... — поперхнувшись вином, он долго откашливался. — И я не жду апокалипсиса, — он рубанул воздух, передавая ему отчаяние. — К нему уже привыкли.

Моряк опрокинул стакан. Он потянулся за мочёным яблоком, но потом передумал и, утёршись рукавом, протрубил

КОНЕЦ СВЕТА

Вообразите, тонет подводная лодка, а на ней ракеты, и реактор продолжает расщеплять атом. Вспыхивает пожар, на борту — ад, плавится металл, смрад душливый забирается в лёгкие. А спасение не приходит. И тогда является отчаявшемуся капитану такая мысль: «Не хочу умирать в одиночку, не жалко мне мира, который бросил меня в беде!» Согласитесь, естественное желание — скопом не страшно. Сколько самоубийц прихватили бы мир за компанию, да руки были коротки. А теперь можно стать не Богом, так дьяволом. Капитан собирается с духом, разом вспоми-

нает мерзости, которые видел в жизни, и нажимает кнопку. И прощай цивилизация, культура, пятитысячелетнее царство гомо сапиенса летит в тартарары! А может, и к лучшему? Всё равно впереди тупик, раз свернули не на ту дорогу.

Моряк помолчал ровно столько, чтобы ленточки его бескозырки сплелись и расплелись, а чёрные полосы на тельняшке поменялись с белыми, и, рассмеявшись, добавил:

— Да вы не бойтесь, в плавание одиноких не берут, предусмотрено, чтобы на берегу оставались близкие.

Но Дуров не боялся, он понимал, что мир устроен так, чтобы вечно тянуть ляжку первородного греха.

По-прежнему была среда, которая не собиралась становиться четвергом. Только теперь луна задыхалась в дымке облаков, а звёзды корчились, как угольки в мангале.

«Не гладь мир против шерсти, — продолжал перетирать Онисим, положив ногу на ногу. — Потому что мир лыс, как колено...» Заметив, что Неволин собирается открыть рот, поднёс палец к губам: «А вы совсем жизни не знаете, вам бы только книжки писать».

Потом взлохматил в зеркале волосы и устоялся на лоб Аристарха, словно прочитал там

ИСТОРИЮ ПРИЛЕЖНОГО УЧЕНИКА

Он с детства всё схватывал на лету и впитывал, как губка. «Поливай яблоню, — внушали ему, — и яблоко обязательно упадёт тебе в руки!» И он ухаживал за своим талантом с большим рвением, чем за ровесницами. Когда другие листали дни, как журналы, он загружал их пудовыми книгами, тяжесть которых к

вечеру переходила в голову. Он отсекал соблазнявшую его руку, вырывал не в меру разболтавшийся язык и выкалывал глаза, если они прелюбодействовали. Ему прочили большое будущее, и он верил в свою звезду. Казалось, он уже превзошёл все науки и постиг все искусства, но шли годы, и те, кто не протирал штанов и не глотал библиотечной пыли, обскакали его на крутых поворотах. Они расхватали сверстниц, тёплые места и удачу. А ему оставили очки на носу. Он так и не встретил любви, о которой читал, и не получил признания, которое заслужил. Он стал лысеть, горбиться, и его обходили за версту. «Ты не научился жить», — читал он на лицах бывших знакомых и не понимал, как овладеть этим главным ремеслом. Он стал пить, запуская один глаз в стакан, а другой в собеседника, и толкаться среди людей, о существовании которых знал раньше только из книг. Он видел теперь изнанку премудрости и понял, что учёность ютится на задворках, раздувая от важности щёки, как дворник в своей сторожке. Его звезда закатилась, не взойдя, а старость опускалась безнадёжно, как ночь. «Всё, чему учили меня — ложь!» — воскликнул он однажды, перебрав больше обычного. Его душили слёзы, и он выложил на колени пистолет...

На этом кончается история прилежного ученика, и начинается

ИСТОРИЯ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ

«Всё, чему учили меня — ложь...» — повторил он, кусая кулак. И стал мстить бывшим наставникам. «Их убивает собственный обман», — карауля по тёмным углам, дрожал он от ненависти. Искалеченный одиночеством, ущербный, как февраль, он был пасынком их

лицемерия, которое теперь целилось в них из темноты. Некоторые узнавали его, но, точно заведённые куклы, продолжали изворачиваться. Он видел, что и они давно презрели своих учителей, но привычно долбили их ничтожные истины. А потому стрелял без сожаления. Пули разрывали порочный круг, где он должен был стать последним звеном. Но застёжка сломалась, и бусы рассыпались...

Его приучили к аккуратности, и он точно следовал графику: разбил лист на клетки и принялся жирным крестом вычёркивать фамилии. А когда его наставники отправились в ад, зарядил пистолет и прислонил к виску.

Он ненавидел себя, и его смерть должна была замкнуть цепочку их смертей.

Прежде чем умереть, он успел дважды спустить курок.

«Сыны мужей — ложь, — вспомнил опять Аристарх, — если положить их на весы, они вместе легче пустоты...»

Материя времени соткана из снов. Однако их швы остаются для нас незаметными, как двадцать пятый кадр. Прежде чем Неволин снова увидел Дурова, прошло несколько дней, но они проскочили для Гермагена в мановение ока. Он по-прежнему сидел в ночном кафе, закусывал обиду тоской и слушал наставления моряка.

— Держись подальше от вещей снов, — предостерегал тот, ковыряя спичкой в зубах. — Вот к чему привёл

КОШМАР БИРЖЕВОГО МАКЛЕРА

Звонит ему раз во сне приятель:

— Ты где?

— В аду, — отвечает он, понимая, что впервые сказал правду. — А ты?

— В раю.

— Но отчего такая несправедливость, сидели же бок о бок?

— Ну что ты хочешь: я же играл на повышение, а ты — на понижение!

Бреясь утром у зеркала, маклер задумался о бессмертии души. Он продолжал о нём думать, пряча наметившуюся лысину, подбирая галстук, пока не остановился на ярком, «в горошек». А вечером «горошек» сыпался на его редкие волосы — проиграв на повышении всё, что можно, он повесился в общественном туалете.

Дуров покачал головой. И уставился на стену, где в известковых разводах проступило осунувшееся лицо Неволина.

А Неволин проснулся оттого, что бормотал бессмысленное: «Туда — “оселок”, назад — “колесо”».

В тот день, который был для Неволина ночью, Гермаген встретил Любовь.

— Мы расточительны, — улыбнулся он, — мы позволяем себе роскошь ожидать.

Любовь скрестила колени под крышей распахнутой книги.

— Потому что втайне уверены в бессмертии.

По бульвару прыгали воробьи, обтекали лавочку гуляющие.

— Парис был змеем-искусителем, — сделал комплимент Дуров, — его яблоко упало из райских садов и снова вернулось Любви, единственной способной к познанию.

И, смутившись, добавил:

- Вас не пугает подобный туман?
— Я боюсь одного, — призналась Любовь, — стать, как

ДАМА С СОБАЧКОЙ

Они встретились на одном южнорусском курорте. Кричали чайки, которых она кормила с руки хлебными крошками, а пудель смешно подпрыгивал, трогая лапами её узкую спину. «Я люблю вас!» — начертил он палкой на песке. «А я нет, — дописала она, — у вас колючая борода и рыжие усы». Её «у» горбилось, как путник, а «о» кривилось, как рот новорождённого, так что учительницы, ведя за руку детей, морщились, указывая на них пальцем. Буквы смывал прилив, их, ревнуя, вытаптывала собачка, но на другой день они появлялись снова.

Недаром говорят: переписываться — всё равно, что строить дом на песке. К тому же скоро они расстались.

Однако их строчкам суждено было развернуться в роман.

Он разыскал её в провинциальном городе — она оказалась замужем за тем, кого не стоит и упоминать — и увёз в Москву. Вначале роман вспыхнул газетным заголовком, но потом его страницы начали желтеть, как осенние листья, а буквы — сопротивляться чтению. Молчание делалось невыносимым, а разговоры вязли на зубах. Он стал томиться, как сад за оградой, и от скуки ходить налево. «Пусть станут груди их, как волчцы, — проклинала она соперниц, — а соски, как крысиный хвост!» Её «у» сделалось сухим, как камбала, а «о» сдавленным, как в SOS.

«Твои слова, как шелест, — упрекала она, — они легче пустоты». Он оправдывался, как на Страшном Суде, зная, что приговор уже вынесен.

В Москве вместо чаек кружили вороны, которые однажды выклевали собачке глаза.

И концовка этой истории утонула в её пустых глазницах.

— Вы тоже думаете, что у женщин длинные волосы, а ум, как полуденная тень?

Любовь смотрела открыто и просто.

— Что мне особенно нравится в твоих чёрных глазах, — прошептал Гермаген, взяв её лицо в ладони, — это их синий цвет.

И тут прохожие исчезли, по веткам засвистели соловьи, а вместо солнца выкатила луна.

Если к Гермагену любовь пришла неожиданная, как бой настенных часов, и нетерпеливая, как самоубийца, то Неволин ворочался от зависти. Сам он уже не помнил запаха женщины, вернув себе девственность. А вместе с ней и дурную привычку, перекликавшуюся с юностью скрипом пружин. Однако теперь он не видел в ней ничего постыдного. Женщина перестала быть загадкой. Неволин знал, что её философия до свадьбы прячется под юбкой, а после — под каблуком.

Скорчившись под одеялом, он платил дань природе, которую презирал.

И его зависть была завистью богов, всеведущих, но неспособных.

Они гуляли по кладбищу. Читали стихи, возбуждённо затягиваясь сигаретой, кашляли и молчали не в ногу. Моросил дождь, и жёлтая листва липла к могилам, сваливаясь с крестов. «Я стоял, где ты, — прочитал Дуров на скособоченной плите, — но смысла не нашёл». Вокруг было пустынно, дождь, смыв даты, сделал могилу слепой.

«Каждая именная могила плачет с тобой, — подумал Дуров, — каждая безымянная — по тебе».

И взял Любовь за руку.

«Человек, как дождь, рождается на небе, а умирает в земле, — кладбищенский сторож выглядел уставшим, будто менял местами чердачные окна, а его лицо сыпалось, как песок. — Здесь лежит мужчина во цвете лет, упокой Господь душу раба Твоего Аристарха...»

Дуров остолбенел. Его мысли попадали вниз мёртвыми птицами, а язык дверной колотушкой застучал о зубы. Он вытянул руку, и она провалилась в темноту.

И тут Неволин проснулся. Он лежал совершенно голый, накрытый собственным потом, и дрожал от холода, веявшего с его могилы.

Что мы знаем об окружающем нас мире? Ничего. Поэтому Аристарх Неволин не удивился, когда однажды обнаружил себя в сумасшедшем доме, куда его поместили домашние. Он уже давно «тронулся», ему только казалось, что он ушёл из дома, но у реальности бульдожья челюсть и глаза рыси. Не освободиться от мёртвой хватки её будней, даже бегство из неё находится в её власти! Неволин думал скинуть её ошейник, но попал лишь в другой отсек, заблудившись в лабиринте её удушливых штолен. Реальность любит розыгрыш, в её комнате смеха кривые зеркала, и он лежал теперь под грязным полосатым халатом и таранился на исчерченный разводами потолок.

А в соседней палате лежал Онисим. Как и все шизофреники, он был неистощим на выдумки и обладал даром внушать. Неволин вспомнил ту ночь, когда он выстраивал их общее прошлое, которого не было. Бешено вращая белками, будто перекусывая нити здравого смысла, он рассказал про их знакомство в автобусе и, перемалывая остатки сомнений, назвал книгу, которую

тогда читал Неволин, но теперь Аристарх понимал, что такой книги нет.

Каждый рассказчик кончает тем, что превращается в своих персонажей. Став Живопырой Эрнандесом, Онисим скоблил лупившуюся по стенам масляную краску и, кровавая язык, слизывал с ножа. А теперь лежал привязанный к кровати и, как волк, выл на круглое лицо санитаря.

На этот раз Аристарх Неволин не был во сне Гермагеном Дуровым. Его прокисшая от обид голова мяла подушку, а под ресницами он был снова ребёнком, окружённым, как воздухом, любовью, с тихой, не покидающей радостью и ясным, как арифметика, будущим. Жизнь, как река, начинается в раю, а впадает в ад. Во сне Неволин опять переживал свои надежды, опять беспрекословно знал, как устроен мир, а проснувшись, плакал, не в силах привыкнуть к рыхлому, непослушному телу, лысоватой голове и языку, прилипшему к гортани.

«Злая шутка», — повторял он, глядя в темноту мокрыми от слёз глазами, теребя одеяло, задыхался от жгучей обиды.

Отчего детство кажется потерянным раем? Отчего его горькие минуты растворяются в памяти, как соль в воде? Не оттого ли, что наши воспоминания сливаются с иными, куда более глубокими, где реальность возвышается до символов, а жалкие, дурно исполненные роли приближаются к правде: мать становится Матерью, отец — Отцом.

«Сколько длились Страсти Господни? — вопил за стенкой Онисим голосом Бурляя Тунгуса. — А нас заставляют терпеть изо дня в день, превратив жизнь в дорогу на Голгофу! Нет-нет, создавший нас — изверг, а мы — дети ненависти!»

Заскрипели пружины, послышалась возня.

«Есть не могу — так Его ненавижу!» — хрипел Онисим, стуча коленками по стене.

Но укол быстро его успокоил.

А Любовь зря опасалась, она не повторила судьбу дамы с собачкой. Она умерла. Промелькнув, как блик, она исчезла также неожиданно, как и появилась. Неволин потерял её в своих снах, Гермаген — в своей яви. Ночи больше не проходили по их жизни красной нитью, а дни вручали только чёрные метки.

Дуров всё больше опускался и чаще оглядывался назад. Кровать, на которой его зачали, давно сгнила, и он ковылял с тех пор в сапогах, обутых на разные ноги. Теперь он стонал от одиночества, говорил не то, что произносил, и молчал с чужого голоса. На его носу были чужие очки, а глаза носил в кармане посторонний.

И Дуров понял, что был сновидением, которое легче пустоты.

«В чёрном цвете содержится белый, которого мы не видим, — рассуждал он, — так и в настоящем прячется будущее, а во сне — явь. И нам хочется жить потому, что наши сны сопротивляются яви».

Он уже поигрывал пистолетом, которому отводил роль будильника.

Свою философию Дуров носил под языком, она жгла небо, отскакивала от зубов, и он то и дело сплёвывал, будто объелся спичек. Он понял, почему не имел власти над обстоятельствами, и всё чаще чувствовал себя бабочкой, которая вьётся под лампой, не в силах вырваться из заколдованного круга.

А однажды тоска навалилась с особенной силой.

«Жизнь — сон», — думал Дуров. Он лежал в темноте, как в гробу, и прислушивался к тишине, полной звуков, как небо — ангелов. Его будущее смотрело в стену, а прошлое разваливалось, как карточный домик, и ды-

шало в затылок, точно лошадь с замочной скважиной в ноздрах.

Хлопнул выстрел, и эхо побежало прочь из сна...

А Неволин проснулся оттого, что в левой руке сжимал что-то холодное и липкое, а в правой тяжёлое и послушное. Он дрожал, как тень, клацая зубами и поливая слюной простыни, пока не сообразил, что в левой руке держит правую, упиравшую в подбородок пистолет. Неволин пересчитал пули — одной не хватало.

Сквозь языки столетника на кровать лезла луна, а из кухни тянуло подгоревшим маслом. Но в ушах ещё звенел выстрел, и ему казалось, что пахнет порохом, который стелется сизым дымком. И от этого зашекотало в носу. Неволин захотел высморкаться, но вместо этого тронул курок.

И вдруг в известковых разводах проступил старик. Он погрозил пальцем, указывая на ручные часы, и его лицо вытянулось, как у барсука. «Легче пустоты...» — прочитал по его губам Неволин, согнувшись в тупой угол. И это были его последние слова: всё, что он вынес из жизни и с чем собирался предстать на Суде. В следующее мгновение он мелко чихнул, дёрнув шей, и распрямылся от выстрела, которого уже не услышал.

И в этот момент половинки встретились.

ЗА ПЯТОЙ ЗАПОВЕДЬЮ

Н оздним сумеречным вечером я сидел на даче и слушал гудение длинных, носатых комаров. В саду кропил дождь, в углу тускло мерцал телевизор.

— Сыграем? — открыл он дверь, на мгновенье пустив темноту.

Подмышкой у него были шахматы, и я нащупал за спиной выключатель.

Он совсем не изменился, и теперь мы выглядели ровесниками, у обоих серебрились виски, оба несли, как горб, свой возраст.

— Можно? — взял он лежавшую у меня на коленях книгу. — Антонио Менегетти «Психология лидера». — Перегнув обложку, пробежал глазами страницу. — Любопытно...

Матери показывал?

Я покачал головой.

— А жене?

— Она давно не читает.

Он вздохнул:

— А мне дашь?

— Бери...

Он сунул книгу за пазуху, машинально проведя ладонью по щеке. Я посмотрел на его щетину и вспомнил, как он неожиданно молодец, сбывая её.

— Папа, а зачем ты женился? — вырвалось у меня. — Вы с матерью такие разные.

Он нахмурился:

— Жён не выбирают, — и аккуратно переставил коня. —
А как у вас без меня?

— Мы редко созваниваемся.

За стенкой ровно тикали часы, бивший из окна свет выхватывал шатавшиеся в саду кусты.

Не отрываясь от доски, он достал сигареты.

— Раньше ты лучше играл.

— Теперь не с кем.

— А с сыном?

Я отмахнулся:

— Мы и разговариваем-то мало...

Он опять вздохнул:

— Да-а, странная у тебя жизнь...

Свет ложился на доску лиловыми пятнами, путая клетки, на которых грудились фигуры. Отец покосился на руку и, быстро перевернув, размазал кровяного комара.

— Однако мясистый... По-прежнему житья не дают?

Я вспомнил, как, шагая по лесу, он отгонял веткой кружившую мошкору, а я, не поспевая за ним, тёр ладонями зарёванные глаза.

— Да ты не обижайся, — прочитал он мои мысли, — я из тебя мужика хотел сделать, слюняю на свете не жить.

И, подняв руку, сжал кулак. Возле носа у него залегли складки, такие же, как у меня, и мне подумалось, что с годами больше понимаешь родителей. Или не понимаешь вовсе.

— Ну что ты, папа, в нашем возрасте уже не обижаются, — я натянуто улыбнулся. — А помнишь, как я пальцы отморозил — кукиш не мог сложить? А как в платяной шкаф спрятался? Там нафталином пахнет, старыми пиджаками, а ты никак не поймёшь, куда я делся. Топчешься посреди комнаты, мне в щёлочку хорошо видно... — Я отвернулся. — Иногда мне кажется, ты до сих пор меня ищешь.

Он закурил, наполняя комнату дымом, запах которого пробуждал во мне память.

— Мне тогда было, как тебе сейчас. И тоже всё гадал, как жить, а жить оставалось — с ногой...

— Тебе грех жаловаться. Это мы, как кроты, а твоей жизни на пятерых... Одно то, что воевал...

— Ну, воевал, и что толку? Думаешь, война ума добавляет? — он сухо закашлялся. — А сына учить надо...

— Чему меня учили? — пожал я плечами. — Так это сегодня лишнее...

— Вот-вот, — неожиданно поддержал он, — отцовская наука высыхает вместе с молоком на губах.

По крыше скребли тяжёлые ветки. Будто кошки на душе.

— А знаешь, папа, бывают времена, когда стыдно жить.

Он хрипло рассмеялся:

— Времена всегда одинаковые, и каждому стыдно за своё.

Отец ссутулился, точно заныли старые шрамы, метившие его судьбу.

— Да я и не сравниваю, ваше поколение много хлебнуло...

Я запнулся. Так говорила мать, добавляя — «напрасно».

— Не напрасно, — возразил он, опять прочитав мои мысли, — человек стерпит любое «как», если знает «зачем».

— Нет, папа, людям «зачем» не нужно. Посмотри вокруг, — я развёл руками. — Может, и прав сын — нет души у человека...

Он ещё больше ссутулился, прожигая взглядом, стал говорить медленно, растягивая слова:

— Ты слишком рано постарел... — он хлопнул по оттопыренному пиджаку. — И тут никакая «Психология» не поможет. Кто не любит, у того все чужие. Я вот тоже теперь

себя спрашиваю — любил меня кто? А я? Были, конечно, привязанности, семьёй обзавёлся, но это всё не то... А значит, не правильно прожил, как думаешь?

Я промолчал.

— Нужно любить, сынок... И надо верить. Верить, что когда-нибудь придёт Господь и установит на земле царство, о котором смутно догадываемся.

— Уже не догадываемся! — передразнил я, со злостью ткнув в телевизор. — Вот наш бог!

Дождь застучал сильнее, словно швейная машинка пришивала небо к земле.

Он уже собирал шахматы.

— Ты приходи, папа, один я остался...

Вместо ответа заскрипели половицы, хлопнула дверь.

— А у тебя не по-детски темно.

Вздвогнув, я открыл глаза. Поглаживая синевшую на подбородке щетину, на веранду тяжёлой походкой спустился заспанный сын, и я вдруг подумал, что по утрам он бреет не только щёки, но и короткую, сильную шею до самой груди.

— В темноте хорошо думается.

— И о чём же?

— О том, что когда-нибудь ты будешь старше меня.

— Прикольная мысль, — оскалился он, показывая крепкие зубы. — А по какому поводу траур?

— Иди спать, — отвернулся я в темноту, чтобы он не увидел выступившие слёзы.

СНОВА В СССР

В угловом доме по Ордынке, в квартире умершего государственного чиновника под именем Леопольда Юрьевича Цифера какое-то время жил сатана. Нечистый зарабатывал на жизнь ворожбой, превращал вещи сны в обманчивые и лечил недуги, на борьбу с которыми больные тратили остатки здоровья. Фамилию прежнего владельца на двери замазали, и поверх неё значилось: «Л. Ю. Цифер». У Леопольда Юрьевича была заячья губа, скрывая которую он отпустил усы, и теперь казалось, будто щетина растёт у него на зубах. Под белым колпаком у него, как росток под асфальтом, иногда выступали рога, на щёки змеями лезли рыжие бакенбарды, а под халатом едва слышно стучало копыто. Он не отбрасывал тени, мочился хвостом, и его голос не имел эха. К тому же, передразнивая Троицу, сатана существовал в трёх лицах. У него была секретарша, уже год беременная на шестом месяце, и помощник, прятавший лицо под капюшоном. Однажды какой-то любопытный сдёрнул материю, она скользнула помощнику на плечи, и на смельчака жадно уставились провалившиеся глазницы, в которых он прочитал свою судьбу. Он тут же ослеп и с тех пор, как в зеркале, стал различать во мраке силуэты смертей, являвшихся его близким, каждый раз трясась от страха, что пришли за ним.

По желанию клиентов Леопольд Юрьевич наводил порчу, насылал бородавки и болезнь, при которой текут слюни.

«На всякого заику сыщется свой тугодум, — приговаривал он, дуя на воду или катая яйцо. — У каждого своя правда, да не у каждого — истина».

Ему приписывают также следующие изречения:

«В сотворении мира участвовали двое». Доказательством он вынимал из стола две левых руки: «Попробуй что-нибудь сделать ими. Половиной ножниц даже мышинный хвост не отрежешь, — добавлял он, — в одном башмаке — что босой». Напоминая, что в сотворении до сих пор участвуют двое, на него красноречиво косилась беременная секретарша.

«Ваши сны ткнут другим явь, но и ваша явь — это чужие сны». За разъяснением Цифер отсылал к древним китайским мудрецам, стараниями которых любой мальчишка знает, что время течёт по руслу другого времени, а то, в свою очередь, стиснуто берегами следующего из времён, которые можно считать до тех пор, пока не закружится голова.

Леопольд Юрьевич легко находил общий язык, утверждая при этом, что у каждого он свой и торчит молчанием из косноязычного рта. Сам он говорил на иврите, санскрите, старославянском, с лёгким акцентом — на коптском наречии арабского и курдском диалекте фарси. Он также заговаривал грыжу, забалтывал правду и шептался с летучими мышами. Но, как чёрт ладана, избегал слова «Бог». «Жить — всё равно, что изъясняться на языке, которого не понимаешь, — зевал он в волосатый кулак. — Языки народов — только буквы, слагающие небесный алфавит».

Говорят, однажды к Леопольду Юрьевичу пришёл математик. Он жаловался на скуку: его дни были похожи, и он точно знал, что после четверга наступит пятница. Цифер обещал помочь, но предупредил: назад хода не будет. «А, всё равно, — отмахнулся математик, — и так хоть верёвку мыль». Сатана уставился на него стеклянным взглядом,

затем, достав из воздуха его дни, перетасовал, как колоду карт, разложил веером и, вынув наугад несколько, вновь перемешал. С тех пор у математика на неделе стало семь пятниц: в один день он просыпался стариком таким дряхлым, что мочился в постель, не в силах дойти до туалета, в другой — делал то же самое, потому что оказывался младенцем. Так вместе с порядком он избавился от скуки. А чтобы математик больше не приставал, Леопольд Юрьевич разорвал и выбросил в окно день их встречи — тот полетел осенним листом и упал в лужу под водосточной трубой. Там его подобрал пускавший кораблики мальчишка, примерил на себя, ощутив вкус скуки, с отвращением выбросил, но его улыбка, ставшая с тех пор пресной, как тесто, сделала эту историю достоянием молвы.

В другой раз явился молодой человек, страдающий мизантропией. «Ты даже не подозреваешь, насколько дурны люди», — произнёс Леопольд Юрьевич голосом, вызывающим сочувствие. И действительно, в других мы различаем лишь собственные пороки, эгоист — эгоизм, похотливый — похоть, и только воплощение Порока видит сразу всё. Леча подобное подобным, Цифер открыл юноше глаза — тот ужаснулся и сошёл с ума. В жёлтом доме он слышит добрейшим малым, любит врачей, облачивших его в смирительную рубашку, и санитаров, запирающих на ночь в карцер.

Дело, о котором пойдёт речь, происходило в день, который февраль занял у марта.

— Карты, звёзды, кофейная гуцца? — спросил очередного посетителя Леопольд Юрьевич.

Тот покачал головой, топчась, как корова на бойне. Сунув в рот сигарету, закурил, будто ковырял зубочисткой, и дым за его спиной свернулся письменами, которые сообщали, что он, Пётр Васильевич Горов, уже достиг возраста, когда встал вопрос, почему жизнь прошла мимо. Теперь его

интересовало, с какого момента она стала дурным спектаклем, а он превратился в зрителя. Когда потерял работу? Или когда ушла жена? Он цеплялся за прошлое, как за потерянный рай, оказавшись в положении человека, ступившего одной ногой в отплывающую от берега лодку.

— Ах, вот что! Хотите заново увидеть этот сон?

У Петра Васильевича мелькнули чётки.

— Слышал, вы можете.

Перебирая чётки, Леопольд Юрьевич кивнул.

— Только, боюсь, он вас разочарует.

Цифер задумчиво погладил бакенбарды, скользнул по усам, стряхивая в рот застрявшие от обеда крошки, и рассказал о том, как одному книжному червю с лицом таким узким, что он мог бы облизывать собственные уши, нагадал смерть от книг.

— Бедняга понял меня метафорически, — бритвой по стеклу скрипел голос Цифера, — стал читать избирательно, украдкой перелистывая страницы, написанные желчным пером. Он опасался скрытого в них яда, а кончилось тем, что в библиотеке рухнули полки и «Молот ведьм» издания 1876 года проломил ему висок.

Хозяин преисподней обернул руку чётками и ребром ладони провёл по горлу:

— Жизнь — простая загадка, которая с годами делается неразрешимой!

— Судьбу, как жену, не выбирают, — поддакнул за стенкой помощник, созерцая пустыми глазницами свой пуп.

Как вода в омуте, густела тишина, делаясь тяжёлой и тёмной.

— Я должен вернуться, — гнул своё гость. — Любой ценой.

За стенкой захихикали.

— Ну, цена-то неизменна, — фыркнул Леопольд Юрьевич, намекая на ту «лапшу», которую с деланным безраз-

личиём вешала на уши секретарша: «Бог дарит вечность — время одалживает Вельзевул».

Он выдержал паузу.

— Только учтите, будущее, как девственница, — продукт скоропортящийся.

Но пришедший, казалось, не слышал, он шарил глазами по шкафам со старинными рукописями, оплывшим семисвечником и прислонившимся затылком к стеклу пыльным черепом. «Его извлёк Гамлетовский могильщик, — хвастал Леопольд Юрьевич. — Однако Шекспир ошибся, — меланхолично добавлял он, — это не Йорик — шуты исчезают бесследно вместе со своими шутками». Леопольд Юрьевич покрутил ус и нервно забарабанил пальцами, отчего на гостя напал чих. Он полез за платком, тряпка уже коснулась носа, и тут Пётр Васильевич нечаянно моргнул. Когда его ресницы взметнулись к бровям, шёл одна тысяча девятьсот восемьдесят восьмой год, у него в кармане лежал паспорт на имя Василия Петровича Рогова, доктора психиатрии, он стоял на Красной площади и размахивал платком в сторону мавзолея. Мимо несли транспаранты, пахло водкой, а из транзистора шагавшего рядом парня несло «Back in USSR».

Прошлое внезапно свернулось в трубочку, сквозь которую Василий Петрович видел будущее.

Недели висели теперь клочьями бороды, он опять стал частью общего сна. По утрам его будила жена, которая выделялась среди женщин, как воскресенье среди будней, он завтракал бутербродами, и на работе его окружали стосковавшиеся за ночь пациенты.

— Если время течёт, — жаловался один, заикаясь от волнения так сильно, что эхо между его словами успевало угаснуть, — то почему стареют всегда одинаково?

— Времени нет, — перебивал другой, — оно кончилось с победой нашей революции.

И тогда Василий Петрович вспоминал о своей исторической миссии.

Вокруг, беспорядочно ощупывая тьму, брели лунатики. Он открывал газеты и поражался их слепоте. В них хвалили книги, которые через пару лет забудут, и пророчили будущее, которое рассыпется, как картонный домик. За тучными коровами бредут тощие, читал между строк Василий Петрович, скоромное мгновение сменяет постное. «Мы уже взвешены, — бормотал он, — и все — легче пустоты...» В окружении скоро узнали, что у него появился пунктик. «Врач-то наш маленько тронулся», — шушукались по углам больные, сопровождая открытие смехом неслышным, как плач камней. Но сослуживцы сочувствовали, понимая, что ненормальность только страхует от безумия. «Чтобы не ехала “крыша”, поезжай в Крым», — советовал один. И слышал в ответ, что это за граница. «Украина — за граница? — всплеснул он руками. — Да у меня тёща на Украине!» Василий Петрович бился о стену, чувствуя, как капает время. «Такое и в страшном сне не привидится», — смеялись над его апокалипсисом. Он добился лишь, что его стали подозревать в хитрости, сплетничая, что он может вывернуть наизнанку ветер и, сидя на стуле, примеряется к другому. Тогда Василий Петрович пошёл по инстанциям. Но дальше канцелярий его не пускали. «Вы же врач и должны понимать, что больны», — говорили ему строго, будто сыпали за шиворот перец. И Василий Петрович ощущал себя букашкой, в которую тычут пальцем: «Жаль давить — скатерть замазает».

Страна представлялась ему заповедником, жадно припавшим к железным прутьям и с завистью глядевшим на хищников, гуляющих на свободе. Интеллигенты по-прежнему, как слизняки, засиживали кухни, коптили небо, а к его рассказам относились, как к тени от пугала. Он бил во все колокола, но это был стрёкот кузнечика в чужом сне.

— Партия, — стучал костяшками домино скорченный от подагры тесть, — она на века!

— Ну-ну! — качал головой Василий Петрович. — От твоей партии уже могилой несёт!

Он пробовал писать, назвал роман «Покаянные дни», но дальше первой строки не продвинулся. «Была на свете великая страна, — гласила она, — была, да сплыла».

Был и другой путь: предвосхищая события, прислуживать тем, чьи имена скоро запорошат глаза, как снежинки в метель, но Рогов с презрением отверг его — это значило стать одним из них. Он хотел пойти в церковь, но не мог. «Меня ты встречаешь на каждом углу, — скрипел внутри голос, не оставляющий эха, — а Его — только в мечтах, значит, правы атеисты: Он — выдумка слабых».

Василий Петрович был упрям, и скоро его упекли в дом с решётками на окнах и дверьми без ручек.

«Я так люблю Родину, — со слезами признавался он соседу-невропату, — так люблю — до ненависти!»

Ночь уставилась моноклем луны, по занавескам плющились клетки от решётки.

И тут он услышал знакомый голос:

— Маленький, маленький Василий Петрович, ты, наконец, понял, что мгновение — это гильотина, а люди мечутся, как зарезанные курицы, стуча крыльями по земле?

— Чему быть, того не миновать, — уткнулся в подушку Василий Петрович. — Глупо бегать по двору, когда голова в корзине.

Его душили слёзы, он понял, что тупик бесконечен, что судьба во все времена одна и по множеству дорог ведёт за одну глухую черту. На кухне Василий Петрович выпросил у дежурного чаю и развёл дозу снотворного, способную свалить лошадь. Вернувшись в палату, разделся и лёг в постель, накрывшись с головой одеялом. Но вместо того, чтобы заснуть вечным сном, очнулся в квартире на Ордын-

ке. Был день, который февраль занимает у марта, он снова был Петром Васильевичем Горовым, зрителем на спектакле собственной жизни. Наблюдая его преображение, Леопольд Юрьевич равнодушно вздохнул: «Прошное, как сон, его можно вывернуть, но нельзя поправить».

На столе циферблатом зевал телефон, беременная секретарша штопала рыбьей костью рваные колготки, и под капюшоном тускло светились глазницы помощника, в которых не было ни прошлого, ни будущего, а от их настоящего замертво падали птицы.

ДНЕВНИК ШИЗОФРЕНИКА

Вначале было слово, и слово было у доктора,
и доктор был Бог.

Он профессионально улыбнулся:

— Проблема самоидентификации?

— У кого её нет, — безразлично зевнул я.

— В каком смысле?

— В таком, что своим местом все недовольны, — я взял его за пуговицу. — Вы, к примеру, отождествляете себя с этим халатом, морщинами, золочёными очками, и знаете, что ничего другого уже не будет... И ужасно страдаете! Может, для начала излечите себя?

Он мягко отвёл мою руку.

— И поговорить, кроме больных, вам не с кем, — гнул я своё, уставившись ему в переносицу, — жена ненавидит, дети давно разъехались, а друзей сроду не было... О верёвке в последний раз когда думали?

Вымученная улыбка болталась на его лице, но я чувствовал, что попал в яблочко. Бедный доктор! Мне стало его жаль, и я рассказал ему про Кирьяна. А точнее Кирьян сам рассказал про себя. Надо заметить, голос у Кирьяна не из приятных — низкий, утробный, доктора аж передёрнуло. Кирьян говорил с полчаса, я засёк по настенным часам, а когда смолк, доктор перестал улыбаться. Кнопкой на столе вызвал санитаря, а сам уткнулся в бумаги. Я близорук, к тому же доктор прикрыл запись ладонью, но Кирьян краешком глаза разглядел: «Аксентий Булдаш страдает раздвоением личности».

С «личностью» я согласился, с тем, что «страдает» — нет.

Через два часа после этого.

В палате пусто. На окнах решётки, и двери — без ручек. Доктор бы здесь рехнулся. Но нам — по барабану. Я растянулся на кровати и целый день думал: «Вот лежит каракатица — четыре конечности, два глаза, два уха, и это — я?» А Кирьян весь вечер пилил меня за беседу с врачом. «АБВГД, — скалился он, — АБВГД...» Кирьян шифруется, но я его отлично понимаю, действительно: «Аксентий Булдаш Всегда Готов Делать Ерунду». И всё же, неужели это — я? Трогаю себя за нос, запускаю руку в трусы. «ХЦЧШЩЭЮЯ» «Да-да, действительно, Хорошо Целыми Часами Шевелить, Щупать Это Юркое “Я”»

В один из последующих дней.

У всех любимая цифра «единица», потому что они одиноки. А у нас с Кирьяном «двойка». Доктор, правда, старается переправить её на «ноль», чтобы самому в разговоре чувствовать себя «десяткой».

Кирьян — читатель. Недавно он декламировал «Ромео и Джульетту». «И нет у повести печали на том свете!» «Хватит, Киря, хватит — сейчас расплачусь!» А теперь он сам сочиняет пьесу про любовь. Уже и название придумал: «Взбалмошная и Колготной». Киря, хочешь пописать? На, голубчик, ручку. Ну, кто же так букочки ровняет, вставляя их, пожалуйста, в строчки слева направо — мы же не арабы.

В прошлом, когда времени нет.

Мы ровесники. Кирьян, правда, меня старше. Но я его догоняю, когда он умирает. Ведь мертвецам, как женщинам, возраст не добавляется. А умирает он каждый раз, как я выхожу из больницы. Чтобы потом воскреснуть. Да, разница в годах у нас чудовищная, но я благодарен судьбе, что мы встретились. Могли ведь прожить и разное время. Ходил бы я с палкой на мамонта,

а Кирьян штаны в офисе протирал. Но вышло так, что это я на службе бумажки перекладывал и глаза перед компьютером ломал. А Кирьян по жизни — тунеядец. «Человек — ленив, — строит он рожи доктору. — ЕЖ-ЗИКЛМН...» «Его Жизнь, Здоровье И Кости Любят Маленькие Нагрузки», — перевожу я. И потом долго думаю, кто кого любит: Кости — Нагрузки или Нагрузки — Кости? Совсем запутал меня Кирьян, а впрочем, какая разница, главное — ЛЮБЯТ!

Вне времени, значит, всегда.

Стоит человек перед закрытой дверью и ума не приложит, как за неё попасть. И стучит, и ключи подбирает, и ломать пытается. Дверь не поддаётся! Годы идут, он уж поседел, обкусал себе локти, а вокруг лужи слёз. Наконец, перед смертью, толкнул тихонечко, дверь и открылась! Человек обрадовался, шмыг за неё.

А за ней — чулан.

Тама у-у-у! а тута а-а-а! мы шур-шур вжик-вжик... Да-да, Киря, на солнце ангелы поют, а мы, как летучие мыши в темноте — крыльями шуршим и в чужое горло метим.

Тёмная минута.

SOS! Я сменил пол! Теперь я часами верчусь перед зеркалом, пудрюсь, и меня зовут Аксентией! А мою подругу — Кирьяной! Кошмар! Помогите, спасите нас бедных! Я даже письмо доктору отправил — жаловался, угрожал: «Ох, отольются вам девчачьи слёзы!» И подписался в рифму: «*Аксентий Булдаш с приветом, весь ваш*». Знай, думаю, наших! А он мне: «Не девчачьи, а девичьи». Ишь, грамотей! Такие до добра не доведут. Но что же делать? Меня всего трясёт, как в лихорадке!

Но — обошлось, оказывается, это санитар меня за плечо тряс, я и проснулся.

У меня утро, у Аксентия вечер.

Эх, Аксентий, не знаю, чего от меня хотели, когда родили, но я этого точно не сделал. А умирать страшно! Много раз переживал я смерть, дрожа в холодном поту. Куда бежать? На край света? Так вот он — рядом с кроватью!

— Как думаешь, что за гробом? — побитой собакой глядит доктор.

— Человек и живёт-то, пока не знает, что там, — разводит руками Аксентий.

«ОПРСТУФ, — добавляю я, — Он Просто Растерянно Смотрит Туда, Удивляя Фантазией».

Но Аксентий переводит по-своему:

— А тебе, доктор, нечестно вершить чужие судьбы, поставив крест на своей!

Ближе к ночи, но луны ещё не было.

Санитар нагнулся со шприцем, я и сообразить не успел, как Кирьян его за нос укусил. Хулиган! Правильно его в смирительную рубашку спеленали! А он еще ржёт: «Мыкаемся, мыкаемся, а врачи думают, мы каемся. Фигу с маслом! Они думают, мы — ха-ха! а мы — хо-хо!»

За окном полдень, у нас — не знаю.

Фчира ф фосем фечера Кирьян стал немцем. Как же мы теперь поймём друг друга? Я знаю, это доктор, чтобы разлучить, поступил с нами, как Боженька с вавилонской башней! Он, когда про Кирьяна узнал, спросил с ехидцей:

— А ты-то не стал немцем?

— Не, — отвечаю простодушно, — я где родился, там и пригодился. Мне ещё в детстве говорили: «Изучай чужую культуру — лучше поймёшь свою!» А на фига? Свою я шкурой чую, а чужая мне даром не нужна.

И всё же не выдержал, попросил немецких словарей. Доктор фыркнул и, покраснев, так хлопнул дверью, что чуть не сорвал с петель.

Часы на стрелках, исход на днях.

Почему груз за плечами с годами растёт, как снежный ком, пока не вдавит в землю? Вон дятел ответ морзянкой передаёт — клюв на сторону скособочил и стучит, стучит... Не стучи, дятел, Кирю разбудишь!

Без времени.

Вспоминаю годы, когда Кирьяна ещё не было. Лица кругом неприступные, как крепости, из амбразур глаза стреляют! И какие важные, надутые, фу ты, ну ты, злюки, бяки, не люблю, не люблю! Правильно, Киря, кому нужны убеждения — нужна доброта. А жена? Пожалей меня, милая, погладь мою бедную головушку, видишь, как мне плохо! В её глазах мелькает сострадание, на мгновение в ней пробуждается жалость, но мужчина — враг, и простёртая ладонь сжимается в кулак.

И как я с ними жил? Только и думал: «Мамочка, забери меня отсюда! Я так больше не буду!»

День, который предшествовал ночи.

Проснулся, а Кирьяна нет рядом! Известил запиской, что уехал на гастроли со своей пьесой. Раскачиваюсь на стуле и вою: «Всю-то ноченьку нету моченьки, сам не свой весь день-деньской!» А доктор радуется, говорит, выздоравливаю. Я его на слове поймал: «Значит, скоро выпишите? Я тогда сразу — к Кирьяну...» Он аж побагровел! Часы за стенкой тикали: «тик-так» — тихо так... С месяц тикали, пока мы с Кирьяном интернет не наладили. Это просто. Надо вставить в оконную раму ложку, повернуть в щели — вжз-вжз-вжз, загудел, заработал. «Это ветер бьёт в ставни, — хмурится санитар, — это иней стекло разрисовал». «Врёшь, злюка! — говорю я про себя. — Ты хочешь обмануть, ты мстишь Кирьяну, за то что укусил, ты заодно с доктором!» «не верь никаму тока мне :—)) — подтверждает

Кирьян, — все тебя ам-ам :—((делай раз, делай два, де лай собачий...»

E-mail: кирьян «собака» гав-гав. ру

День после ночи.

Вчера с доктором спорили, он стихи принёс, а я говорю, зачем их читать — только дурному научат. Вот чабан в горах — барашка ел, жену любил и до ста лет прожил, а поэты молодыми вешаются.

Но доктор хитрый, ему так просто клык не сломаешь.

— А как же у чабана учиться, — смеётся, — он же неграмотный, ни строки не оставил?

Но я тоже не лыком шит, делаю вид, что не слышу:

— Жизнь иначе устроена, мимо книжек течёт, а они только голову дурят.

Тут он горячиться стал:

— Как бы ни так, мир — это наши представления о мире! Что первой красавицей во дворе быть, что мировые подиумы покорять — разницы никакой!

А тут Кирьян звонком встрял:

«Нет, дядя, шалишь, мир больше, чем наши представления о нём...»

Кирьян, папашу отключить «мобилу», не мешай культурному — йо! — диалогу.

По прошествии времени.

Хорошо, что всё течёт, я бы дважды в одну воду ни за что не ступил!

Сегодня по телевизору показывали Президента. Он был одет с иголочки и произносил важные речи. Санитар, доктор и все, кто толпился в коридоре, внимательно его слушали. Один я хитро улыбался. Потому что узнал Кирьяна. Вот, значит, какая у него пьеса! Ну, Кирьян! Он только притворяется умником, а сам несёт околесицу. К тому же

по-немецки. Однако этого никто не замечает. Странно! И всё же нехорошо морочить голову людям, их и так водят за нос все кому не лень.

Стыдно, Кирьян!

Я не стал дожидаться окончания президентской речи и ушёл в палату. А через час на пороге появился доктор и долго втолковывал мне про моё расколотое «я». Я для вида, конечно, киваю, а в душе хохочу — что он может сказать, если в Президенте Кирьяна не раскусил? «Да ведь ты мне завидуешь, — думаю про себя, — если я расколот на половинки, значит, проживаю две жизни, а ты одну едва влачишь».

Время бежит.

Тсс-с! Кирьяна с важной миссией отправили на Марс. Он темнит, но по всему видно — дело государственное! Я и сам собираюсь на Марс, вот только получу от него приглашение. А марсиане странные. Они тьявкают, как собаки, и все разговоры у них крутятся вокруг денег. Кирьян передаёт, будто в их языке все слова, так или иначе, означают «деньги». Друг друга они приветствуют так: «Шурум-бурум, тьяв-тяв!» «Тьяв-тяв, шурум-бурум!» А это значит: «Как с деньгами?» «С деньгами хорошо! А ты при деньгах?» А на прощанье облизывают друг друга: «Чтобы у тебя деньги не переводились!» «И у тебя чтобы деньги к деньгам!»

Когда марсианка хочет похвалиться мужем, она называет его ласково «тявтявчик» — «денежный мешок».

Тьфу! И как только Кирьян с ними общается?

Нет, не полечу на Марс.

Время идёт незаметно. За беседой.

— Кирьян, что есть истина? — спрашиваю я.

— Истина есть укол, — отвечает за Кирьяна доктор, умывая руки.

- Доктор, а что есть я? — спрашивает Истина.
- Ты есть Кирьян, — отвечаю я, умывая за доктора руки.
- Истина в том — что нам есть? — умывая руки, спрашивает Кирьян.
- Доктора, — колю я. — За доктора — отвечаю...
- Ис тины чтон ам-ам есть? — умывает доктор.
- Я, я, я, я, я... — от веча ет. — А что за Ки — рьяно?
- чтО еСт Аз До спра? — шиВаает Ки.
- У выМя Док! Ь... — МяДок увы!

Конец времени.

О, Господи! Плохие дяди пичкают меня горьким лекарством, колют острыми длинными иглами! Гадкие, гадкие, они ядовитыми таблетками хотят извести Кирьяна! Как же мне без него! Один я останусь на свете!

А вдруг я сойду с ума?

ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС

Когда Силантию Щербань исполнилось пятьдесят, его снова отправили в первый класс. «Лучше в “А”, — не вставая из-за стола, смерил его взглядом директор, — там мальчиков не хватает». Щербань купил букварь, тетрадь для прописей и, собрав ранец, явился в школу с цветами. «Чей-то папа? — спросила учительница, когда утром он подпирал классную дверь. Но тут же хлопнула по лбу: — Ах, да...» Чтобы не загораживал малышам, Щербаня отрядили на «камчатку», где он, сутулясь, сажал кляксы, считал в окне галок и в ожидании звонка таращился на портреты по стенам. На переменах он курил в туалете, выпуская дым в разбитую форточку, его пальто не помещалось в гардеробе, и ему разрешили раздеваться в учительской. Но в начальной школе Щербань не задержался. Ещё не облетела листва, как он заполнил учебные тесты, и его перевели в старший класс. У него за плечами был университет, но теперь его мозги скрипели, когда он заново грыз науку. «Потерпите, голубчик, — хлопал по плечу директор. — Скоро выпустим».

Учительница годилась ему в дочери, но, когда, надев очки, водила по журналу пальцем, он горбился от страха услышать свою фамилию. «Щербань!» — путая ударение, выносили ему приговор, и он смущённо краснел, выходя, отворачивался к доске, не зная, почему мир устроен так, а не иначе, чертил каракули, пачкая мелом лацканы пиджака, и сбивчиво бормотал, вызывая за спиной дружный смех. На занятиях мысли разлетались, и он ловил их, как

бабочек, а на «контрольных» списывал, получая шпаргалки в скомканных бумажных шариках. Но к старости каждый многое повидал, и случалось, Щербань отвечал правильно, не заглядывая в учебники. «Мир такой огромный, — думал он на уроке географии, рисуя на картах бредущих человечков, — почему везде всё одинаково?» И мысли уносили его за тридевять земель. «Это потому, что образец один», — отвечал он себе, когда стоял в церкви и слушал, что Господь сотворил человека по образу и подобию. Из-за «белого» билета Силантия освободили от военной подготовки, а из-за врождённого порока сердца — от физкультуры. «Смерть — это болезнь, — вглядывался он в анатомический атлас на уроках биологии, — её инкубационный период длится жизнь».

И вспоминал про больное сердце.

С женой Щербань развёлся, дочь вышла замуж. От одиночества он пытался, было, сдружиться с одноклассниками — развесил дома цветные журнальные наклейки, выучил названия «рок-групп» и вдел в ухо серьгу. На уроках он обменивался с соседями по парте SMS-сообщениями, в которых не ставил знаки препинания, а на переменах старательно подражал собеседникам, так что речь его стала односложной. Но угнаться за школярами не мог. «Ты скучный, дядя, — выстреливали в него “первоклашки”, надувая жевательную резинку. — Жизнь прошла — расслабься». Они без усталости зубоскалили и меняли темы быстрее, чем моргали. «Клиповое мышление — это искусство! — надували они щёки, когда Щербань промокашкой утирал им сопли. — Учись через тридцать секунд всё забывать, а больше минуты ни на чём не задерживаться!»

И, едва он отворачивался, показывали язык.

«Двойки» оттопыривали Щербаню карманы, и он сам расписывался в дневнике за умерших родителей. Силантий с завистью смотрел на одноклассников, которые впитывали,

как губка, — от него всё отскакивало, как от стенки горох. «Истории, как денег, на всех не хватит, — крутил он серьгу, листая хроники, — кто её записывает, в неё и попадает». А ещё замечал, что в истории остаются те, кто убивает больше, чем рождает, и собственная жизнь представлялась ему пасьянсом, который не сошёлся.

Но хуже всего было с математикой. «Из пункта “А” в пункт “Б” движется поезд», — читал он условие задачи и сразу представлял мерцающие в ночи огоньки, пассажиров, курящих в тамбуре, стук колёс, усатого проводника, разносящего по вагону чай, и беседу случайных попутчиков, в которую уместается жизнь. Силантий также думал, что каждый на земле отыскивает неизвестное в уравнении, корень которого он сам.

Девушки Силантия едва терпели, в глаза смеялись, а за спиной крутили у виска. После занятий он приглашал их в гости, но единственным, кто приходил, был Денис Чегодаш, безнадёжный «двоечник» и закоренелый прогульщик. Облокотившись о стол, он дул из бутылки пиво и тремя пальцами, будто крестился, таскал из сального пакетика хрустящие чипсы.

— Учат шахматам, а играть придётся в хоккей, — рисовал будущее Силантий, глядя на его грязные ногти.

— Обыграем, — ухмылялся Денис, и, вытерев о скатерть, прятал руки в карманах.

По четвергам урок проводил директор. Когда надоедал предмет, пускался в рассуждения.

— Школа — это дорога в жизнь, — важно тянул он, вытирая платком запотевшие очки.

«Второй раз она выглядит иначе», — думал Щербань.

Он вспоминал, что из черепахи элеатов супа не сварить, а «пифагоровы штаны» не наденешь. И мир представлялся ему интернатом для умственно отсталых, в котором «двоечники» преподают «отличникам».

— Школа лишает собственного мнения! — раздалось однажды с задней парты.

Директор прищурился.

— Она загоняет в современность, — продолжал высокий голос. — После неё уже не замечают, что на виду далеко не лучшее.

Силантий согласно кивал, удивляясь, как точно выражают его мысли.

А директор пришёл в себя.

— Да у нас бунтарь! — выставил он узловатый палец.

И тут Силантий Щербань увидел, что все обернулись, а он, возвышаясь над классом, ожесточённо рубит ладонью воздух.

Педсовет грозил отчислением, но, выслушав долгие извинения, дело замаяли.

Серафима Кольжуда из параллельного класса слыла дурнушкой. Грудь у неё была, как дыни, а чёрная коса такой длинной, что заметала следы. Серафима заплетала её красной лентой, которую достаточно было вынуть, чтобы, встряхнув волосами, спрятаться в шалаше. Сверстники дразнили её «мамочкой», но для стареющего мужчины все молодые — красавицы.

— С ровесниками неинтересно, — жаловалась Серафима, забравшись с ногами на лавку.

Школьный двор давно опустел, и Силантий ходил по нему кругами, как кот на цепи.

— Иметь или быть? — громко вопрошал он, выдыхая густой пар. — Наша цивилизация построена на «иметь», «быть» в ней — значит пройти незамеченным!

Серафима распустила косу, и красная лента извивалась в её ладонях, как змейка.

— А знания? — закурил Щербань, поставив ботинок на лавку. — Кто решает, что нам знать? А переучиваться поздно.

Взяв за кончик красную ленту, он намотал её на палец.

— Все знания на свете сводятся к любви, — выдохнула из-под волос Серафима.

Под вечер холод прогнал их со школьного двора, они ещё долго бродили по мёрзлым улицам, а кончилось тем, что завернули к Щербаню, где он научил Серафиму любить, а она его — заниматься любовью.

Квартира Щербаня была сжимающейся Вселенной — стены давили, дощатый пол вздымался буграми, словно под ним замуровали покойника, и был готов поцеловаться с низким потолком. Из-за хлама она казалась ещё теснее, так что Щербань, входя, будто футболку надевал. Но Серафима раздвинула холостяцкое жилище, пройдясь по нему, как торнадо, и Щербань понял, почему смерчам дают женские имена. Во сне она долго не могла успокоиться, пластаясь по простыни, будто стрелка испорченного компаса, выталкивала Силантия на пол, а просыпалась поперёк кровати с подушкой в ногах. А Силантию казалось, что он погряз в инцесте — точно в кривом, множащем образы зеркале, он видел в Серафиме свою мать, бывшую жену и покинувшую его дочь.

— Впереди выпускной бал, — вертелась Серафима, примеряя платье. — Пригласишь на вальс?

— Конечно, только я не умею его танцевать.

— Я и сама не умею, — рассмеялась Серафима. — Вальс вышел из моды.

Случалось, их навещал Денис Чегодаш. «Прожил, как и все, будто впотьмах, — заводил старую песнь Силантий. — Поверь, жизнь интереснее представлять, чем проживать». Но Денис, выпятив подбородок, переводил взгляд на Серафиму, и хозяину делалось неловко. Серафима предлагала гостю чаю, положив рядом с ним чистую салфетку, она улыбалась, как луна в летнюю ночь, и жизнь больше не

представлялась Силантию кроссвордом, который никак не сходилась, потому что в нём допустили ошибку.

В субботу Щербань отпустил Серафиму домой для «решительного» разговора, а на родительском собрании, куда пришёл сам, как сирота, встретил мать Серафимы. Та стреляла глазами, выпячивала, как гусыня, тонкие губы, но завести разговор не решилась. А на другой день явился её муж. Угрюмо молчал, разглядывая по стенам цветные наклейки, необранную постель, пыль на подоконнике, а потом плюнул, растерев плевков каблуком: «Как ты её обеспечишь — когда сам на ногах не стоишь?» В детстве Силантию так говорил дед, в юности — отец. «Далеко не пойдёшь, — махали они рукой, — даже лягушку раздавить не можешь!» И Силантий чувствовал, будто его наказали без вины, и он снова стоит в углу, размазывая по щекам слёзы грязными кулачками.

В дверях отец Серафимы обернулся: «Она к тебе больше не вернётся!»

Щербань обхватил голову руками, и мир представился ему тюрьмой, в которой расстреливают на рассвете. Едва дождавшись команды: «Огонь!», не выспавшиеся солдаты отправляются в казармы — досыпать, смешивая сцены казни с картинками сна. И Силантий понял, что сегодня пришёл его черед — тысяча пуль вонзилась ему в сердце, опрокинув на спину. Умирая, он смотрел в серое, зарешётчатое небо, силясь разглядеть Бога.

Силантий Щербань умер от сердечной недостаточности на пороге совершеннолетия. Возвращаясь с похорон, Денис Чегодаш вспоминал его необычайное, обострённое болезнью воображение, благодаря которому эта короткая жизнь вместила в себя полвека.

Кропил дождь, Денис Чегодаш смотрел под ноги и не видел будущего.

ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛЛИВЕРА

*Н*окинув страну благородных лошадей, этот англичанин, вспоминая безобразных йеху, не спешил вернуться на родину, а направил свой корабль навстречу солнцу. После долгого плавания шторм выбросил его на берег, пустынный, как ладонь нищего. По морщинам рек он побрёл вглубь острова, пока не наткнулся на изречение: «Слушай фразу до тех пор, пока не вывернешь её, как рукавицу».

Вот что он писал позже.

Эта надпись красовалась над дверью трактира, но прочитать её я, конечно, не смог. Я только и понял, что это искусственный рисунок. Потом я встречал его на пивных кружках, в мясных лавках, на уличных вывесках, татуировках, ладанках знатных дам, слышал пословицей и приговором на эшафоте. Дело в том, что туземцы проводят своё время в поисках тайного смысла, заключённого в слова. Подобно иудеям, убеждённым в скрытой подоплёке Писания, они строят иносказания, метафоры, как дома на песке, и живут в них до нового прилива красноречия.

«Форма неизменна, — утверждают они, — но содержание постоянно меняется».

Название их страны произносится двояко. Иногда Благдвильбригг, иногда Шумриназ, и означает остров толкователей. Для благдвильбрижцев такое положение вещей не

представляется удивительным, ведь язык, считают они, проясляет лишь ничтожное число наших сокровенных имён.

Как ни странно, книги о моих приключениях достигли этих далёких берегов. Через месяц, который я провёл у гостеприимного трактирщика, я уже начал понимать благодвильбрижский, и мой хозяин сообщил, что «таинственные записки», как нарёк он мои отчёты о плаваниях, вызвали здесь переполох, точно камень, свалившийся в курятник.

«Хороша книга или плоха, — обиделся я, — зависит не от автора, а от читателя». В ответ он потащил меня в замок и представил королю, который, оказалось, уже год ломал голову над тем, что я хотел сказать. В присутствии вельмож я со всей почтительностью поклонился его светлости и, увидев, что он сгорает от нетерпения, признался, что писал правду. Моё простодушие чуть не стоило мне головы. Ведь правда для местных жителей — гнуснейшая разновидность вранья, истина — самая низменная из категорий лжи. Заявить, что говоришь правду, значит оскорбить. Во время короткого пребывания в Японии мне удалось выяснить, что в японском есть слово, которое меняет смысл речи, если она не нравится собеседнику, о чём можно догадаться по выражению его лица, на противоположный. Но благодвильбрижцы пошли дальше. Любое их слово несёт в себе своё отрицание и может быть истолковано по желанию. Исключить обман из их жизни совершенно невозможно, правда свела бы их с ума, и потому она спрятана в недомолвки и намёки. От гнева придворных я спасся лишь тем, что стал на ходу плести кружева, нанизывая их, как бисер на иглу, заговорил об иронии и сатире и увидел, как лица благодвильбрижцев погружаются в привычную задумчивость. Удовлетворившись моей болтовнёй, король стал зевать и устало хлопать в ладоши.

Королём у благодвильбрижцев становится тот, у кого нет выемки над верхней губой, а министрами, кто сумеет

почесать языком кончик носа. При этом король скрывает отсутствие бороздки под густыми усами, и намекнуть на его особенность считается неприличным.

Мне отвели комнату, и на другой день мы продолжили беседу. За ночь я успел подготовиться и начал разглагольствования сразу, едва переступил порог королевских покоев. «Книга — не публичная девка, — оправдывался я, льстиво заглядывая в глаза, — настоящая книга, как жена, предназначается одному, а не всем. Читать не свои книги всё равно, что спать с чужой женщиной». Меня благоклонно слушали, свесив языки на подбородок. Незаметно закатилось солнце, и я восхитился королевской способностью извлекать из ночи тишину, которая скрадывает все шорохи. При этом я называл тишину несостоявшимся боем и аплодисментами, которых никто не слышит. Однако король воспринимал эти сравнения всерьёз, парадоксы завораживают благодвильбрижцев, как огонь.

Их язык перегружен идиомами, будто телега после ярмарки, а слова имеют множество версий. Прежде, чем ответить, они долго думают, какую именно выбрал собеседник. И обычно не угадывают. Станный их разговор напоминает диалог глухих, который распадается на сумму монологов. Они легко усваивают чужие языки, которые погружаются в их язык, как баржа в море, но перевод с благодвильбрижского крайне затруднителен. Их песни и книги остаются вещами в себе, их культура, в отличие от нашей, замкнута. Передать её можно лишь приблизительно. Например, фразу «я собираюсь удить рыбу» благодвильбрижец может понять как предложение руки и сердца, а утверждение «завтра будет дождь» как предостережение от засухи. Известная поговорка гласит, что язык дан политику, чтобы скрывать мысли. Но благодвильбрижцы веками упражнялись в дипломатии и, в конце концов, настолько запутались, что перестали отличать чёрное от белого. Они

шли на поводу у холодной вежливости, а их мышление следовало за удобством, провозгласив идеалом терпимость (*глафричбек*). Это не значит, что у них не случается ссор. Я сам видел булочников, угощавших друг друга тумаками, однако выяснить причину драки так и не смог. Один приводил мотивом вчерашний снег, другой — сумятицу в раздавленном муравейнике. Их лицемерие стало искренним, а сознание — податливым, как глина. Геродот называет персов честными от природы. У благодвильбрижцев, наоборот, ложь коренится в самой душе, изъять её, всё равно, что вынуть позвоночник.

Интерпретация заменила им факт, а язык — молчание. Грамматика благодвильбрижского целиком подчинена комфорту. Не только книги, но и отдельные предложения допускают в нём различное прочтение. Знаки препинания расставляются произвольно, буквы определяются фигурами речи, а алфавит то и дело меняется. Подлинная же передача знаний достигается особыми горловыми звуками. «Если знаешь только слова — ничего не знаешь», — гласит благодвильбрижская поговорка.

Вслед за Платоном они полагают, что мысль не рождается в голове, а приходит в неё из мира идей, и потому, размышляя, вертят шеей, подставляя виски сторонам света, как парус ветру. Некоторые их философы договариваются до того, что и наше «я» находится вне тела, но, когда я спрашивал, что такое по их мнению «я», они начинали привычно темнить.

Раз в год здесь состязаются ораторы. При мне победителем вышел юрист, увидевший в «да» полтора десятка «нет». Точно помешанный, он вышагивал, задрав голову, ловя оттенки смысла, как рыба воздух, и его рот беззвучно шевелился. Однако публика, читающая по губам, рукоплескала.

Из наук на острове развивается только психология. Она представляет собой странную смесь знахарства,

шарлатанства и ворожбы. Её учителя усердно преподают то, чем не владеют сами, а что знают — скрывают. «Обучая других — учишь сам», — главное правило благдвильбрижской педагогики. Их лекари, на разные лады заговаривая больного, в случае кончины ставят несколько диагнозов, предлагая родственникам самим выбрать болезнь, которая свела пациента в гроб.

Толкование заслонило благдвильбрижцам событие, как гора — солнце, потому что они смотрят, но не видят. Мне объяснили, что у правителя острова хранятся очки, которые надевают новорождённым, и они носят их, пребывая, точно в скорлупе. Если островитянин хочет свести счёты с жизнью, ему достаточно снять их. Он тут же погибнет, сражённый истинным светом мира.

Ходят слухи, что у королевских советников выработан особый язык — короткий и ясный, на нём обсуждаются государственные вопросы. Но из окон дворца слова долетают до благдвильбрижцев в привычном искажённом виде. Из них может следовать как то, что будущий год будет урожайным, так и то, что предстоит недород. Если сравнивать улыбки с погодой, то благдвильбрижская — как в глубине океана — всегда холодная и таинственная.

Здесь отрицают единобожие. «Даже цирюльник у каждого свой, — обрывали туземцы мои попытки миссионерства. — Не человек для Бога, но Бог для человека!» При этом они верят, что у женщин Бог мужчина, а у мужчин — женщина. Молитвы они также отрицают. «Бог даёт не что просишь, а что находит нужным», — считают они. По той же причине у них не пользуются уважением гадалки. Выражение «судьбу не обмануть» здесь понимают так, что судьба сама тысячу раз обманет. В этой связи мне рассказывали такой случай. Один человек отличался невезением, все его планы рушились, а надежды не сбывались. Задумает ехать — у телеги ломается колесо, соберётся отдохнуть — его

требуют по службе. Тогда он стал метать кубик, спрашивая прежде небо. Но как ему было толковать знамение? Ведь если число благословляло его начинания, то, с учётом подвоха, нужно было поступать наоборот.

Жизненный опыт благдвильбрижцы не ставят ни в грош. «Посмотри, — говорили они, указывая на стариков, — вот, что значит соответствовать житейской мудрости!» Старики здесь алчны и сварливы не в меньшей степени, чем у нас, но им не выказывают того лицемерного почтения, которое предписывает наша мораль.

У островитян есть такой обычай, сохранившийся, как мне говорили, с незапамятных времён. В углу их жилищ стоит грифельная доска, на которой они пишут по утрам первую фразу, произнесённую королём после сна. Целый день они вглядываются потом в осыпающийся мел, глубокомысленно морщатся, пытаются втиснуться между букв и, ухватив, как кошку, вытащить оттуда потаённый смысл высочайших слов, прежде чем их унесёт тряпка. И это благдвильбрижцам всегда удаётся, каждому — на свой лад. На свою *tabula rasa* они молятся, как на икону, и, в отличие от проповедуемой у нас Божественной неизменности, она символизирует переменчивость. Их религия (*брунзилё*) провозглашает терпимость, которая с годами превратилась в безразличие. Они поклоняются любой случайно попавшейся им вещи, будь то метла, огородное пугало, осколок стекла, сон с четверга на пятницу, собственный пупок или причитания ветра. Специальная коллегия следит, чтобы их внимание не задерживалось, а идолы сверкали, как мыльные пузыри. Для этого иногда распускают слухи о внезапной гибели короля или о поразившей его немоте. Подобные мифы повергают население в ужас: при всей своей изощрённости, благдвильбрижцы поразительно наивны. Постоянные темы их разговоров — равенство и свободомыслие, которыми здесь очень гордятся. Любой

дубильщик кож, не смущаясь, расскажет, как он понимает устройство Вселенной и последнюю фразу короля. «Считаешь ли ты себя равным ему?» — спросил я одного могильщика. Вместо ответа он рассказал мне о видах на урожай и, заколачивая гроб, поведал о достоинствах покойного.

У лжи богатый арсенал, у правды — бедный, ложь вызывает ко множеству чувств, правда — только к справедливости. Поэтому благодвильбрижцы считают ложь оружием сильных, а правду — ненадёжной крышей для слабых. Не все, однако, способны жить во лжи. Таких здесь считают душевнобольными и зовут аристократами (*чудгилгами*). Аристократы проводят жизнь в одиночестве. По распространённому суеверию их взгляд вызывает порчу, а прикосновение лишает удачи. Аристократом может объявить себя каждый. Но это опасно. От них шарахаются, как от прокажённых, и в любой деревне могут побить камнями.

Через год меня увёз голландский корабль. Когда капитан сообщил, что направляется в Европу, я поначалу обрадовался, но потом стал искать в его словах каверзу, подозревая под Европой синевшие впереди волны, край света или преисподнюю. А вернувшись домой, я не мог избавиться от ощущения, что так и не покинул Благодвильбриг. Уже в порту меня встретили толпы с газетами в руках, стадо бормочущих, блеющих, жующих слова, которых недостойны. Меня окружили сплетни, журналистские «утки», переменчивая молва, захлестнули обманчивые проповеди и сомнительные истины, я повсюду натыкался на писателей, которые, как свиньи жёлуди, рыщут скрытый смысл, и читателей, которым надевают на нос очки.

Ночью, когда подступает бессонница, я вижу, как островитяне склоняются над кроватью и слизывают мои мысли длинными, скользкими языками.

ЧЕТЫРЕ СТЕНЫ

— *М*ебя когда убили?
— У меня была естественная смерть.
— Болезнь подкосила?
— Я застрелился...

Уткнувшись в подушку, Анисим Чертопруд прислушался. За стеной продолжали глухо шептаться.

— А ты *здесь* давно?

— Не помню. Был солдатом, а их убивают.

Анисим Чертопруд вдруг вспомнил, что вчера его сбила машина, и ударил кулаком по стене. Он содрал кожу, но кровь не сочилась.

— Тебя *сюда* сын отправил?

Приподнявшись на локте, Анисим увидел в углу высокого, сморщенного старика.

— Говорю, не сын погубил? Может, квартира тесная, мешал?

Анисим покачал головой.

— Повезло, а меня дети со свету сжили.

Чертопруд заскрипел зубами. Это сын, в семье которого он жил, вчера послал его за хлебом, булочная была через улицу, но он до неё так и не дошёл. Чертопруд был военным, служил при штабе и рано вышел на пенсию. Свои полвека он тащил, как горб, — женился, воспитал детей, оброс внуками. И, рассчитывая пронести ещё столько же, не мог поверить, что умер.

— Это *там* время ползёт с понедельника к пятнице, *здесь* оно течёт к воскресению, — вздохнули за другой стеной. — Надо только потерпеть и верить.

— Тебе привычно, монах, — хмыкнули в ответ. — Ты прожил, как акробат в цирке — уцепился за небеса и парил над житейской бездной. А я всякого насмотрелся. И верить могу только тому, что мир жесток, а люди несчастны.

— Это люди жестоки и оттого несчастны, — эхом отозвался монах.

Комната была без дверей, и Анисим вдруг вспомнил, как влюбился в одноклассницу с рыжими волосами и зелёным бантом, а мальчишки-соперники заперли его в чулан. Там хранился садовый инвентарь, лопаты с налипшей землёй, ржавые грабли, пахло сыростью, и можно было спать с открытыми глазами. А он, вместо того, чтобы расплакаться, думал о смерти. Вглядываясь в темноту, он представлял, что когда-нибудь его не станет, и по сравнению с этим прежние мысли казались ничтожными. «Как спастись?» — беспрерывно повторял он, так что, когда открыли дверь, уже твёрдо решил уйти в монастырь.

Но жизнь взяла своё, и вместо духовной академии он поступил в военную.

— А как было относиться к жизни всерьёз? — раздалось за стенкой. — Живым-то из неё всё равно не выбраться.

— Так именно поэтому!

И Чертопруд понял, что его окружают те, кем бы он был, сложись судьба иначе, кто испытал то, что могло выпасть на его долю.

За другой стеной жаловались:

— С мужем мы не находили общего языка.

Чертопруд узнал покойную жену.

— Помню одного, — пролаяли ей, — владел десятью языками, а ни с кем договориться не мог.

Это был его учитель истории, плешивый, сгорбленный старичок с мягким характером. Когда Анисим, забравшись на заднюю парту, болтал на уроке с рыжей одноклассницей, он каламбурил нарочито строгим, отрывистым голосом: «Эй, вы, там, герои *с парты!*» Долгие годы «историк» враждовал с долговязым, желчным учителем французского, полиглотом, в конце жизни потерявшим дар речи от кровоизлияния. И теперь сводил старые счёты. В разводах на стене проступило и нервное лицо онемевшего полиглота, которому стал чужим даже родной язык. И Чертопруд подумал, что сам он мог договориться со всеми, кроме себя. Потом вспомнил, как, овдовев, стоял у гроба, перед ним всплыли тонкие руки жены, её наглухо застёгнутое платье, он вспомнил убранные лентой волосы и вдруг подумал, что мог бы родиться и женщиной.

— Он был из тех, — тараторила жена, — кто никак не решит, что лучше — старая жена и молодая любовница, или наоборот. И в душе остаются холостяками.

Анисим почесал затылок.

— В жизни, как в истории, каждый находит своё, — защищал его учитель. — А теряют все одно и то же.

Но жена была беспощадна:

— Говорить он любил долго, а чтобы слушали его ещё дольше. И быстро дожил до таких лет, когда уже не знал, кому верить.

Сосед Анисима ухмыльнулся:

— Нет, что ни говори, а миром правят бабы, — подсев на кровать, он протянул окурок. — А мужики в нём — сексуальное меньшинство!

Анисим жадно затянулся, пуская ноздрями дым, хотя раньше не курил. Тусклый матовый свет пробивался сквозь стены, наполняя комнату со всех сторон, так что предметы не отбрасывали теней. Неужели он не видел себя? Неужели ошибался в других? Анисим закашлялся.

— Кури, кури, — похлопал по спине старик, — табак грусть-тоску выгоняет, жалею, что только перед смертью закурил.

Вступать в разговор не хотелось, и Анисим с основательностью военного задумался о похоронах, которые пройдут, раз он *здесь*, без главного участника. «А тебя разве там не было?» — когда-нибудь увидев его, смущённо удивится сын. «И хорошо, что не было», — подумал Чертопруд, представив короткую процессию, наспех сколоченный гроб и едва скрываемое равнодушие.

«Водка!» — донеслось издалека, будто кто-то высунулся в форточку. Чертопруд узнал спившегося брата, который даже температуру на улице измерял градусами алкоголя. По утрам, выглянув из окна, он кричал: «Сухое белое!», если погода стояла ясная, зимняя, но не слишком холодная, и — «Красное полусухое!», если было столько же выше нуля, вставало багровое солнце, и накрапывал дождь. Около двадцати градусов шёл «Яичный ликёр!», с тридцати — «Горькая настойка!», потом — «Бренди!» или «Ром!» При жизни Анисим презирал брата, а теперь понял, что вполне мог оказаться на его месте.

«Это прошлое у всех разное, — ковырял он лупившуюся краску, — будущее у всех одно».

А голоса лились отовсюду.

— У Господа мы по-прежнему, как Адам, — один человек, — причитал монах, — это дьявол придумал пространство, чтобы нас разлучить.

— Но сюда попадают не фразой из контекста, — энергично возражал ему кто-то, в ком Анисим теперь узнавал себя, — а со всеми поворотами судьбы, мимо которых прошёл. Это и есть высший Суд, на котором ты сам себе судья!

И Чертопруд чуть не заплакал от жалости к себе. Он понял, что мог бы стать другим, мог идти на все четыре

стороны, а провёл жизнь в четырёх стенах, которые выстроил внутри себя.

«Мы проживаем жизнь, не отдавая в ней отчёта, — прочитали его мысли за стеной слева, — а время — как дождь на стекле...»

Это был голос отца, охрипший от долгого молчания.

И Анисим вдруг вспомнил, как, тяжело заболев, отец сидел за столом с прямой, будто прибитой к столбу, спиной и, вымученно улыбаясь, отгонял мух: «Я ещё не умер!» А в последние годы он и сам был, как натянутая струна, и при мысли о смерти вскрикивал по ночам. Чертопруд до хруста заломил пальцы и подумал, что при иной судьбе мог быть своим отцом.

«И странно всё получалось, — тихо удивлялся отец. — У меня было двое сыновей: один правильный, другой — непутёвый, так я больше второго любил. А почему?»

У Анисима сжалось сердце. Он вдруг вспомнил, как в гостиной, когда умер брат, остановились старинные настенные часы, и как ему захотелось перевести стрелки назад, чтобы опять, как в детстве, бегать босым по траве, рвать незрелый крыжовник и, указывая на озабоченные лица взрослых, надрывать от хохота живот.

— А по праздникам, — донимал его сбоку старик, которым бы он стал, доживи до его лет, — дети говорили: «Сделай нам подарок — умри!»

Анисим отвернулся. Перед ним проплыли образа в церкви, строгий, крестивший его батюшка: «Во имя Отца, Сына и Святого Духа...» «Отца? — подумал Чертопруд. — Какого Отца?» Он вспомнил себя ребёнком, когда жизнь представлялась долгой, солнечной дорогой, и он любил, взобравшись на высокий табурет, сесть по-турецки, слушая за столом взрослых, разговоры которых, оказалось, не стоили и выеденного яйца.

— В старости, как на войне, — бубнил сосед, — каждый

год штыком подгоняет, мысли стреляют в спину, а из каждого угла целится болезнь.

Анисим вытянул ладонь со стёршейся линией жизни, читать которую было всё равно, что букварь.

«Будущее у всех одно», — опять подумалось ему.

А за стеной его двойник убеждал монаха:

— Оглянись вокруг! Похоже, единственное оправдание Бога состоит в том, что Его нет, — Анисим представил, как его двойник разводит руками. — А мир без Бога — как старый озлобленный пёс.

Анисим сжал кулаки. И всё же после него останется недолгая память, каждое утро ему звонили внуки: «Дед, как дела?» И он старался понять их молодую, отличавшуюся от его, жизнь, а понять другого — значит стать им. Анисим курил, но окурок всё не кончался, точно время в комнате остановилось. Над потолком шептались, словно долбил дождь, под полом шушукались, будто скребли мыши.

— У всех по-разному складывается, — рассуждал погибший солдат. — Вот штабные, к примеру, какие вояки? А я в особой роте служил.

— Долго?

— Пока не убили.

— И сам убивал?

— На то и война! Только одно дело, когда убивает атеист, и другое, когда верующий.

— А в чём разница?

— В жестокости! Думать, что с могилой всё кончается, и убивать? Отправлять в пустоту?

— А я, когда стрелялся, мечтал о пустоте — настолько устал...

И Чертопруду было знакомо отчаяние. Когда на семейном фронте маячил развод, а на службе грозило увольнение, и он сжимал пистолет. Тогда же ему предложили контракт в горячую точку, он уже собрал чемодан, но в

последний момент передумал. А потом кривая вывезла, и он зашагал привычной дорогой. «Переживая одно, упускаешь другое», — мелькнуло у него. Он обвёл взглядом четыре стены: «А умереть — значит встретить судьбу, пути, которыми пренебрёг».

Анисим откинулся на подушку, уставившись в потолок, и ему показалось, что он прожил слепым, точно не выходил из чулана, в который его запирали. Он был от себя на расстоянии вытянутой руки, но так и не коснулся, а теперь обречён быть *здесь*, как жил — один в четырёх стенах, а рядом, точно дразня, будут находиться взвалившие его судьбу, с которыми он, как и прежде — за стеклом.

— Вместе век коротали — что порознь куковали! — всхлипывала жена. — А ведь говорила мама: «Не становись Чертопрудихой!» И ухажёр был, умолял... Но как было разобраться? Хоть бы кто посоветовал!

— Ну-ну, — покосился на Чертопруда сосед, — скажи такой: «Нельзя выходить без любви!», а она и не поймёт, о чём речь...

А Чертопруд опять вспомнил рыжую одноклассницу, которой клялся в любви и которая не стала его женой.

Поджав ноги, старик сел по-турецки.

— Многие просмотрели жизнь, будто по телевизору, — выпустил он дымное кольцо. — И только *здесь* поняли её устройство.

Анисим потёр виски. Пространство, населённое его отражениями, гудело, как улей. А внутри — будто петух клевал. Это сердце отбивало время пролетевшей жизни. Медленно, как слепец, который простукивает перед собой палкой, тикало оно сквозь годы, отсчитывая заново дни, свернувшиеся в часы — от школы до военной академии, от свадьбы до похорон жены, приближаясь к тому мгновению, когда сын послал его за хлебом. Раньше Чертопруд думал, что стоит на пьедестале житейских истин, а оказалось,

он разделял заблуждения своего времени и мыслил его стереотипами. «Стереотипы на пустом месте не возникают! — оправдывался он. — Из времени, как из штанов, не выпрыгнешь».

Но и сам не верил своим словам.

Неожиданно зазвонил «мобильный».

— Дед, как дела?

— Всё хорошо. Я умер...

Анисим отбросил трубку. И вдруг подумал, что раз все люди — один человек, то, возможно, где-то он останется навсегда. Может, и умер он только в одном из времён, а в другом под его именем живёт сейчас настоящий, незнакомый ему Чертопруд?

От этой мысли у него защипало в носу. Чихая, он повернул голову, и в это мгновение увидел, что переходит улицу, а в двух шагах от него мчится машина.

СЛОВО

Клянусь небом, что изложенное ниже — правда, хотя я уже не могу отличить её от лжи! Мой род восходит к могучим лидийцам, сражавшимся у стен Города, о котором поведал слепой грек. Я потомок объездчиков диких скакунов, которые изобрели, если верить Ксенофану, чеканку монет. Моим пращуром был и Крез, царь, о котором рассказывает Геродот. Душной ночью месяца раби ал-аувала, когда луна катилась по небу затёртым динаром, явившись во сне, он повелел мне разыскать сокровища, спрятанные им в пещере после прихода Кира. О таинственной пещере сообщали и фамильные предания. И я поспешил во дворец, чтобы поведать обо всём халифу. Слушая меня, владыка правоверных принимал ванну из фиалкового масла и близоруко щурился. «Я брошу тебя на растерзание львам, если вернёшься ни с чем!» — пообещал он. В заключение снял перстень — его печать разрешала проникать во все земли, подвластные наместнику Аллаха, — и отдал мне. Так на четырёхсотом году хиджры я, Йакут ибн Муавийя, переписчик книг и составитель диванов, был отправлен халифом ал-Хакимом — да будет благословенно его имя! — на родину отцов.

На третьей неделе месяца зу-л-хидджа вместе с благочестивыми паломниками я тронулся в путь. За старыми городскими воротами от нас, наконец, отстала толпа мальчишек, привлечённая рёвом верблюдов и плачем женщин.

Теперь нас сопровождало только мерное щёлканье бичей у погонщиков мулов, тягучее пение бедуина и солнце, стоявшее в зените. Лёжа на носилках под палящими лучами, я пытался представить, что меня ждёт впереди, наивный, составлял план, не доверяя провидению! Я воображал, какую библиотеку построит для меня халиф, когда я привезу ему богатство Креза...

На восемнадцатом дне пути в Ущелье Дев караван разграбила шайка разбойников. Мои рабы разбежались, а единственного преданного мне, чернокожего нубийца, забрали с собой вооружённые кривыми ножами феллахи. Не стану описывать жаркие пески, кишашие скорпионами и злобно шипящими змеями, голые скалы, где я останавливался на ночлег, распластавшись, чтобы меня не сдул в пропасть ветер, не стану описывать лихорадку, от которой меня спасли тень кипариса и отвар из корней можжевельника, и жажду, от которой чуть было не умер. Мой халат был сплошь в дырах, а чалма свисала ветхой тряпкой. Я встречал мудрецов, говоривших, что невидимое не существует, и дервишей, учивших относиться к реальности, как к чуду. Я повидал их множество — мёртвых, над которыми вились мухи, скелетов, обглоданных шакалами! Но мои злоключения бледнеют перед дальнейшим. Скажу только, что прежде чем попасть в Зелёную Долину, я благополучно миновал страны, где не ведают о Пророке — за его проповедь меня едва не побили камнями! — и места, где буйствует проказа...

...Аллах милостив, я очнулся в шалаше из пальмовых ветвей. Надо мной склонялся коротконогий, морщинистый туземец, брызгавший на щёки воду. Стоило мне приподняться на локтях, как бесстрастное выражение сменилось у него испугом. Он бросился наутёк. В хижину вошли босые женщины, принёсшие лепёшки, голые мальчишки и одетые в грубый войлок мужчины...

Я попытался выяснить, какое из учений проникло в их места. Однако они не слышали ни о Мусе, ни о Посланце, ни о Распятии. Не принадлежали они и к религии маджус — чтящих огонь. Когда я спрашивал, кому они поклоняются, они лишь загадочно улыбались. Я обращался к ним, как к глухим, — на пальцах. Результат был тот же. Но люди не могут не поклоняться, думал я...

...У меня поднялся жар. Я начал бредить. В моей воспалённой голове птицами, клюющими череп, вертелись изречения философов, среди которых особенно назойливым было: «Всё содержится во всём, одно слово — все слова». Мне прислуживала сгорбленная старуха с пахнущими рыбой волосами, подоткнутыми в пучок костяной иглой. Глядя на них, я стал подбирать слово, собирающее воедино все слова. И я нашёл его. «Мир». Но, выздоравливая, я стал размышлять над тем, что другие слова ничем не хуже, что все они — нити одной паутины. И стал предаваться пустой забаве, связывая их в цепочки. Так «старуха» подсказала мне звено между «причёрской» и «запахом рыбы», а «дери-виша» и «беглого раба» я связал «палкой», которая служит посохом первому и гуляет по спине второго. «У колодца и женщины ничего общего, — думал я, — однако поэты справедливо сравнивают их бездны». Но потом я окреп настолько, чтобы устыдиться своей игры...

Когда я провёл в Зелёной Долине несколько недель, то стал подмечать благоговейный ужас, которым наполняются глаза её обитателей, когда обращаются на юг. Я жестами заговорил об этом со старухой, но она — доселе каменное изваяние! — замахала руками, будто я джинн. Отсюда я заключил, что на юге находится их таинственный покровитель. В одну из ночей, когда месяц был на ущербе, я сунул в мешок вяленое мясо и отправился на юг. Неожиданно передо мной вырос страж — рослый, с дубинкой у пояса: мою затею предвидели. Он, не мигая, смотрел мне

вслед, когда я свалил его ударом клинка. Он точно не замечал, что истекает кровью, в его взоре читался лишь благоговейный ужас. Я долго блуждал, продираясь сквозь репейник, прежде чем обнаружил протоптанную в густых зарослях тропинку. Извилистая, она упиралась в пещеру. Вход был завален валежником. Я разгрёб его. Глухо запричитала сова. Внутри тёмный коридор упирался в тяжёлую дверь. «Великое искушение» — разобрал я на ней, прежде чем толкнул ногой. На пороге сидела ящерица. Я спугнул её. С потолка капало. Я ожидал встретить какого-нибудь страшного дэва, но пещера была пуста. Её стены испещряли письмена, и среди них сияло Слово...

Разговаривая, мы швыряем друг в друга сгустки тумана. «Любовь» каждый понимает по-своему, «Бог» различен в толкованиях богословов. Но Слово, которое я читал, означало сразу всё. Или ничего. Только что это был «волк», как его уже сменяла «цапля», «цаплю» — «вереск», «вереск» — «стрелы, пущенные в луну». Оно заключало в себе Вселенную, оно и было Вселенной. Внезапно я понял, почему безмолвствуют жители Зелёной Долины. Я знаю двадцать два языка Халифата, не считая арабского, я владею всеми диалектами фарси, речью румов и говором жёлтых обитателей Поднебесной, и поначалу буквы, составляющее Слово, показались мне знакомыми, будто слагались сразу из всех алфавитов. Несколько раз я пробовал переписать его, но бумага сохраняла лишь горсточку жалких слов. Я стал опасаться за рассудок. Без сомнения, это было божественное слово. Дивное, неземное сияние превращало его в зеркало, в котором отражались окружавшие меня письмена, я сам, города, где я провёл юность, близорукое лицо ал-Хакима, переписанные свитки, пальмы, оазисы, Коран, гневные окрики бедуинов, копыта негусов, пятничный намаз, наложница, купленная визирем для гарема, белозубые мавры, осами налетевшие на нас в

Ущелье Дев, преданный мне чернокожий нубиец, вооружённые кривыми ножами феллахи и евнухи, казнённые за измену в день моего отъезда. Может быть, это и есть священный тетраграмматон, открывшийся Мусе на Синае, который означает для йахуди безымянность Бога? Может быть, его упоминает начало четвёртого откровения сыновей Исы? А может быть, это и есть сокровище Креза? Ведь его обладатель обладает всем...

Меня сморил сон. В нём я снова увидел всю свою жизнь, которая упёрлась в сырую пещеру, и тут услышал голос, привыкший повелевать. «О, Йакут ибн Муавийя! — узнал я своего далёкого предка. — Моё сокровище не для тебя — ты чересчур суетен, чтобы обладать им! Возвращайся обратно к себе подобным — отныне твоим уделом будут смятение и скука, а когда ты смертельно устанешь, то всё забудешь». Очнувшись, я ещё долго сидел на камне, покрытом слизняками, созерцая Слово. И воображение рисовало мне фантастические картины. Я снова видел себя ребёнком, едва умеющим взобраться на лошадь, безусым юношей, изучающим ремесло писца, но видел их уже обладающими опытом и мудростью, которые приобрёл за жизнь. Я представлял себя то повелителем мусульман, то рабом, то женщиной, то ящерицей, которую спугнул, входя в пещеру, — все мои фантазии тотчас воплощались в Слове! Оно отражало их в мириаде изменчивых слов, а что значит воплотить, как не описать? И Аллах творил посредством слов! Или Слова? «Великое отчаяние» — прочитал я на двери, которую снова закрыл. У её порога я оставил ненужный перстень, ибо решил больше не возвращаться в столицу. Я решил так не из-за страха перед гневом халифа — я слышал, он давно умер, — а потому, что больше не смог бы переписывать книги с их человеческой мудростью. К тому же человек всегда глупее им написанного. Теперь моя участь ужасна: я остался наедине со здравым смыс-

лом, глумлением скуки и действительностью, от которой хочется отречься.

Я поселился отшельником на склоне горы. Окрестные пастухи, видя мою задумчивость, нарекли меня «Беспре- станно Молящимся». Но они ошибаются. Пока я рублю дрова, собираю хворост или разжигаю огонь, на котором готовлю пищу, я всё время стараюсь вспомнить или забыть Слово.

ПО МОТИВАМ ВИРТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

— Ну что, юный хакер, опять ночь не спал?

— Уж хакер я точно не юный...

Ему шестнадцать. За компьютером — с пяти. Школу давно бросил, о Мировой войне знает из кино, о Толстом — не подозревает.

«С российскими счетами лучше не связываться — американские жирнее. Моё дело взломать, а “дроповоды” найдут в Америке “дроперов”, которые снимут деньги. И в России такие есть, не хочешь “светиться” — “зальют” за десять процентов».

Это он год назад делился. Когда только постигал свою «науку». Теперь неинтересно. Моя «бывшая» иногда читает ему морали. И нарывается на «иди в ж...!» А я не дурак — учусь на чужих ошибках.

— Пустой, — деланно зеваю, заглядывая в холодильник.

— Сколько? — не отрывается он от монитора.

Я ломлю втрое — всё равно кроме чипсов с пепси-колой он ничего не покупал.

Достаёт из-под подушки бумажник:

— И мороженоехвати...

Год назад я и сам интересовался:

— А если «дроповода» возьмут?

— Это его проблемы, всё равно расплатится.

— Из тюрьмы?

Смотрит, как на идиота.

— Они же ментов башляют...

Квартира однокомнатная, он вырос на кухне, которую делит с котом. Спит, сколько влезет, не вставая с дивана, ест. И всё — в обнимку с клавиатурой. Из дома выходит редко, разве за деньгами или встретиться с клиентом. Но разговор с глазу на глаз не любит — предпочитает «скайп». При этом он крупный — крепкие ноги, широкая грудь. «В деда», — считает «бывшая». Ну, уж точно не в отца!

Звонит моя мать. Когда надоедают её жалобы, передаю трубку ему. «Цель звонка? — басит он. И через секунду: — Кончай “лечиво”, иди в ж...!»

Мать живёт в большой «двушке», но обмена не предлагает, и к себе — ни ногой. Она при смерти последние сорок лет, и врачи за глаза называют её пиявкой.

«“Сервак” надёжнее держать в Китае, “грузит”, конечно, медленно, зато “штатовцы” не накроют...»

Я слышу эти советы — он даёт их по телефону — и на меня находит:

- Знаешь, давай поговорим?
- О чём?
- Да, так...
- Тогда лучше по «мылу».

Я у него на содержании. Выдаёт мне, как школьнику, на метро, оплачивает «мобильный». Со взломанных счетов. А наличные прячет в футляры от «сидиромов», которые грудятся по углам. Говорит: «Коплю». А на что — одному Богу известно!

- Ты как скупой рыцарь.
- Это что за чувак?

Рассказываю.

— А в чём фишка? — искренне удивляется он. — Каждый от своего кайф ловит. Ты, вон, пишешь за бесплатно...

Я открываю рот, но он «отключается» — каждую ми-

нуту стучит «аська», пальцы вслепую печатают на двух языках.

Когда нужно, он стучит в стенку, как соседу. Или звонит по «мобильному». Оторваться с дивана и сделать три шага ему лень.

А часто придёшь:

— Подожди, сейчас...

Перевожу в шутку:

— Каменный гость хуже татарина...

И тогда вижу себя со стороны, а моя жизнь представляется мне виртуальной.

«Бывшая» пытается заработать, но постоянно прогорает. «Заказчики подвели», — виновато просит у него денег. «До какого числа?» — угрюмо сопит он. Я хитрее — когда спит, «отщипываю» из кошелька, всё равно не считает. Но «бывшая» честная, ей совесть не велит. Мы и тут разошлись, она считает, что мужа обманывать можно, а государство, пусть и американское, нельзя. Я, конечно, дальше от идеала — не брезгую ворованным. А что делать?

Приятель советует взять инвалидность:

— Пособие по третьей группе мизерное, но с голоду не умрёшь.

— А заболевание?

— Ты что, сомневаешься? — покрутил он у виска.

В психоневрологическом диспансере побеседовал с врачом. О том о сём — вышло три часа. Под дверью скопилось очередь, а он не отпускает.

— Надоело всё, — жалуется, — а куда деваться?

— Хороший вы человек, — жму руку на прощанье.

— И вы, — улыбается. — А группу берите первую, без права работы — дадут...

Обратной дорогой иду, не различая луж, и повторяю за доктором: «А куда деваться? Остаётся полюбить своё сумасшествие...»

Весна выдалась ранняя, на улице слякоть, с крыш ползёт снег.

— Что творится... — киваю я за окно.

— Плюс пять, — хмыкает он. — А завтра ветрено.

Это интернет-прогноз.

В отличие от меня в его возрасте, подружки у него только интернетовские — виртуальные смайлики, сердечки на день святого Валентина. Осторожно говорю «бывшей»:

— Надо бы ему девушку вызвать...

— Ты что, «продвинутый» папаша? А со мной годами не спал.

— Днём — ругаться, ночью — миловаться?

«Бывшая» заводится.

— Да заткнитесь вы, наконец, — просыпается он, — столько лет всё выясняют!

«Бывшая» задвинулась на сексе. Точнее, на его отсутствии. Ни за что не признается, но я-то вижу. И по-человечески жалею. Муж ушёл, сын, чуть что — кулак.

— Мать же... — совещу я.

— Ну и что? Меня в детстве била, ей материнское чувство не мешало? А теперь я сильнее...

Что скажешь? Я поначалу был вроде буфера, а потом понял: поругаются — помирятся, а я — крайний.

А ещё «бывшая» бесится оттого, что у меня любовница. Девке чуть больше двадцати, и она зовет меня «пусиком».

— Это всё мое? — обнимаю я её.

— Да, пусик...

— И твой оргазм тоже?

Смеётся. А потом я рассказываю, как понимаю счастье:

— Запереться в комнате и — писать, писать...

— Со мной?

— Конечно, с тобой. Разве я много прошу?

И опять моя жизнь представляется мне виртуальной.

«Восьмое марта» торчит посреди недели, как одинокая мимоза. Он намылся, приоделся, догадываюсь — первое свиданье. А вернулся быстро, взъерошенный.

— Представляешь, — захлёбывается, — сидели в кафе, так она всё про деньги — и папа-то у неё «крутой», и сама-то за себя расплатится... Они что, все — дуры?

«Это тебе не “мышью” щёлкать», — думаю я. А вслух поддельываюсь:

— Молоденькие все «на понтах».

— Да причём здесь «понты»!

Ого, крысится, чувствую, влюблён.

— Знаешь, — ловлю момент, — любовь-любовью, а есть хочется каждый день.

— Это ты к чему?

— А к тому, что есть и весёлые девицы...

Точно — «продвинутый» папаша! Но реакции никакой. Открыл ноутбук, пальцы забегали по клавиатуре. А через час уже режется в «контр страйк», смотрит в параллельном «окне» молодёжную комедию и ржёт.

Солнце освещает измятую постель.

— Знаешь, детка, — философствую я, — люди искусства подлее.

— Почему?

— Их к этому вынуждают. Возьми клерка — он открыто продаёт себя, но у него и доход гарантирован. А художник свободен. Но что это значит? Что никому не нужен и за свой кусок должен, как волк, бегать и с другими грызться. И не восемь часов, как клерк, а двадцать четыре! Доказывать, что он — лучший, что его собратья — бездари, ходить перед издателем на цырлах... А при этом — гонор! В нашей среде, детка, зависть, как воздух, все хитрые, изворотливые, только рассуждают о морали, а самим она не писана...

— А посади вас на оклад — отлынивать будете, говорить, вдохновения нет.

— Может быть... Ладно, к чёрту людей искусства! Тем более что и искусства давно нет — одна мода...

Опять звонила мать. Он слушал её с минуту:

— Поговорить не с кем?

Как животное, он чувствует, когда сосут кровь.

— Иди, смотри телевизор! — и вдогон повешенной трубке: — Скорей бы «ласты склеила».

— Ну, это ты уж слишком...

— А на фига лицемерить?

И я ловлю себя на той же мысли.

Только зря надеетесь — наследую квартиру, сразу сдам, а сам перееду к детке.

Утро хмурее хмурого. Просыпаясь, долго не могу понять, кто я. И сколько мне лет. Зато отчётливо сознаю, что везде чужой. «Все живут не с теми, не там и не тогда», — смываю я остатки сна. Но целый день нахожу подтверждение этим сентенциям. Меня не покидает ощущение, что я не тот, за кого себя выдаю, что я лазутчик во вражеском стане, что, переодетый женщиной, веду себя по-женски, а мой сын старше меня.

Иногда состязаемся на руках. Пыхтит, краснеет. А когда кладу, шипит: «Ну, подожди, годика через два...» Я пока держу дистанцию, и он границу не переходит, но оба знаем, перейдёт — возврата не будет.

Снова просидел больше часа у психиатра. Говорили о бессмысленности жизни. «Что нам остаётся? — подвёл он черту. — Как говорится: “Пой, соловей, пока поётся, была бы жизнь, а смысл найдётся”».

Надо же, встретить в «психушке» родственную душу!

Это ли не диагноз?

Мои рассказы наконец напечатали, и я не удержался:

— У этого журнала есть интернет-версия, посмотришь?

— Поздравляю, — не поднимает он головы. — Научился писать?

— А чему тут учиться — достаточно раз увидеть собственную могилу.

— А ты видишь?

— И часто.

Заёрзал, стало не по себе.

— А тебе сколько заплатят?

— Журнал безгонорарный.

— А-а...

Щёлкнула «мышь».

— Сайт туфтовый, — залепил он через минуту. — И дизайн — отстой.

— Спасибо за отзыв.

Но он не чувствует иронии. И я думаю, что со мной он расстанется легко. Просто поставит в «мобильном» галку напротив «Удалить контакт» и нажмёт О.К.

Удачный день у него, как у рыбака, означает богатый улов.

— Не понимаю, — откровенничает, — можно весь день за гроши горбатиться, сайты делать, а можно нажать пару кнопок, и «штука» в кармане!

«Так это же воровство», — чуть не вылетает у меня. И тут же прикусываю язык — от трудов праведных... А палатами каменными всё Подмосковье забито.

— Вот и ещё сто баксов упали — за хостинг... Считаю, с куста снял!

Я неопределённо хмыкаю.

Но его несёт:

— Сегодня один меня «кинул», так я его элементарным «трояном» взломал, свистнул пароль и самого заблокировал!

— Тяжело, верно, жить, постоянно думая, что обманут?

Скалится:

— Жить вообще тяжело. Особенно без бабла... — и тут же снисходит: — Ладно, старик, не бери в голову, всё нормально...

Детка ревнует: «Ты слишком часто говоришь о бывшей жене!» Разве ей объяснишь, что бывших жён не бывает? А любит горячо, жадно, так что при поцелуях стукаемся зубами.

Он про детку знает. Но ему — «по барабану». Ему вообще всё «по барабану», кроме интернета. «Взломаю любой сайт». И это, похоже, правда. Гений, одним словом, а говорят, что природа на детях отдыхает.

Целый день сидит перед экраном, как сыч, а к вечеру подслеповато щурится:

— Как думаешь, взломанные «акаунты» лучше вслепую «на вес» продавать или самому просматривать? Геморрой, конечно, зато есть шанс озолотиться. Да и барыги на мне не наживутся...

— Слушай, а ты в Бога веришь?

— Я чё, дурак?

— В этом мире трудно без Бога.

— Мир несправедлив, — косится. — Только «лузеры» сидят и хнычут, а герои включаются в игру.

— А в чём игра?

— Добывать очки, как в электронной «стратегии».

— И что с ними делать?

— Ты чё, прикидываешься, да?

Я отвернулся: «Больше денег — больше счастья!» Его формула проста, и я для него лузер.

А для себя?

Детка говорит: «Это тебе испытание. Ты тонкий, духовный...» Да уж испытание — глаголом жечь сердца людей, когда за стенкой напевают: «Без лоха — жизнь плоха», и хохочут, что «от бабла бабла не ищут!» А хуже, что азарт заражает, хожу по квартирке и гадаю: «угонит» он очередной куш или не «угонит»?

Брюки он снимает вместе с ботинками, втапывая в пол, и бросает тут же, смятые, скомканные. Сам не гото-

вит, когда меня нет, заказывает по телефону пиццу. Как в американских фильмах. А крошки смахивает на пол — это уже наше, расейское. Вчера звонит по «мобильному», голос дрожит:

— За мной милиция! В дверь стучат и одновременно звонят по «городскому»!

— Что ж, как верёвочка не вейся...

— Пап, приезжай скорее, я больше не буду, клянусь, ну, пожалуйста...

А сам чуть не плачет.

— Ладно, вычисти пока улики с компьютера.

— Только не отсоединяйся, мне страшно.

— Не бойся, выше «условки» на первый раз не впают.

Сладок час мщения! И короток.

— А ты, случаем, пиццу не заказывал? — Проглотил язык. — Не слышу, заказывал?

— Я — идиот!

Бросился открывать.

— Но это же ничего не меняет! — кричу вдогон. — Считаю, это стучался Господь, в которого ты не веришь!

Когда я вернулся, он уже спал, а в коробке из-под пиццы свернулся кот.

«Это мне урок, — ледяным тоном цедит он на утро, — надо быть осторожнее».

Квартира в моей собственности. И когда у нас стычка, я грожу её продать.

— А я? — бычит он.

— Поедешь в коммуналку.

— А я подам в суд, — подключается «бывшая».

И начинается светопреставление!

Я знаю, он думает про меня — вымогатель. Назови, как хочешь, только иначе копейки не даст. Его не разжалобишь.

Раз попробовал:

— Что же мне, в дворники? С двумя «высшими»?

А у него один ответ:

— Но мы же с мамой работаем.

Завожу ту же песнь «бывшей».

— Брось, — затыкает, — Москва слезам не верит...

Так она ничему не верит, кроме денег!

Бывают времена, когда жизнь представляется пятым тузом в колоде, лишней картой, из-за которой не сходится пасьянс. А у меня такие времена не кончаются. «Бывшая» подружилась с матерью. Против меня. Я кажусь себе жалким, беспомощно пытаюсь разорвать змеиный клубок.

— Женщины объединены в сеть, — начинаю я издали, принаравливаясь к его языку, — тронешь одну — звонят все...

Он поднимает голову:

— Ы-ы?

— Да это я про маму с бабушкой...

Голова опускается.

— Может, подскажешь, как разорвать их сцепку?

— Ой, тока не заморачивай меня!

И тут я допускаю ошибку.

— Твоего отца жрут, — повышаю я голос, — а ты, как мумия, пялишься в проклятый экран!

Всё, я замахнулся на святое!

— Иди в ж...! — огрызнулся он.

И я иду. В отдел по борьбе с компьютерными преступлениями. А в кармане у меня бумага: «Я, как честный гражданин и отец, воспитывающий сына...»

А группу всё же получить надо. Что возьмёшь с сумасшедшего?

ДВОЕ

Ермолай Нибальсин и Онуфрий Пименов были ровесниками. Это единственное, что не менялось в их отношениях. При этом Ермолай вёл себя так, будто был старше и мудрее, а Онуфрий — будто счастливее.

Они жили в доме из бурого кирпича, где сгнило не одно поколение, в тесной квартирке, всегда полной гостей — Онуфрий слыл радушным хозяином, тогда как Ермолай едва сдерживался, чтобы не спустить всех с лестницы. Но это была зависть: в коридоре толпились к Онуфрию, а к нему очередь занимали только мухи.

Ермолай был угрюм и худ, точно его точил червь, и сгорблен, словно носил камень за пазухой. «Довели до ручки», — не весть кого обвинял он, помешивая суп из пакета. У соседа за стенкой дым стоял коромыслом, а в его угол доносились лишь отголоски, и он жадно ловил обрывки фраз, которых не понимал. «Чужая жизнь кажется водевилем, своя — трагедией», — согнутый радикулитом, ворчал он.

По пятницам играли в преферанс. «Захватило дух — сижу без двух!» — то и дело приговаривал Онуфрий, аккуратно пересчитывая взятки. Но выходил сухим из воды. А Ермолай бил пики червями и сносил в прикуп тузов.

— За мной глаз да глаз нужен, — смущённо оправдывался он. И вдруг добавлял не к месту: — А ведь в книгах ищут разное: юность — подтверждение своим мыслям, старость — их опровержение.

Деланно зевая, все утыкались в распахнутые веером карты, а Онуфрий хмыкал:

— Это потому, что юношеские помыслы чисты, а старческие — гадки.

Поправляя очки, Ермолай кривился и ненадолго умолкал. А после в приступе сентенций подмигивал:

— Добиться согласия в прошлом труднее, чем понимания в будущем!

Ожидая возражений, он крутил ус, но ему кивали, как надоевшему попутчику.

И двести лет назад Ермолай казался бы старомодным. Он шагал в ногу со временем, но в разных направлениях. Спротивляясь его стремнине, он цеплялся за берега, и его било, как бревно, о камни. Онуфрий, наоборот, плыл по течению, изредка подгребая на быстрину, чтобы не отнесло в камыши.

— Несовременный, — косился он на Ермолая.

— Сиюминутный, — огрызался тот.

Убирались попеременно и в этом были похожи — после одного ходили по колено в грязи, после другого пыль лежала толщиной в руку. Недели копились вместе с нестиранными рубашками, из которых вывернутыми карманами торчали дни. Беспокойный, как клёст, Онуфрий то и дело выскакивал из их скворечника, надеясь хоть одним глазком заглянуть в будущее. Ермолай, как старая дева, жил прошлым. «Прошлое уже вечно, — жевал он любимую присказку, — будущему это только предстоит». Онуфрий поддакивал, но в душе надеялся пережить соседа.

Прадеды Ермолая по отцу были типичными русскими помещиками: сеяли ветер, пожинали облака, до тошноты гоняли чаи, а о смерти Сократа рассуждали с большим оживлением, чем о видах на урожай. Их календарь тереялся в буднях, как сумасшедший в мыслях. Вечерами они дулись в карты, рифмуя «журавль» и «голавль», со-

чиняли пасторали и за дурной отзыв вызывали на дуэль. По материнской линии Онуфрий происходил из купцов, сидевших на ярмарках в размалёванных лавках. Они бойко торговали заклёпаннными чайниками, ржавыми утюгами, дырявым, как прошлое, ситом и съели собаку в скобяных изделиях, выстраивая из копеек мост к заветной мечте — стать барином. Их руки пропахли деньгами, керосиновые пятна расписали им фартуки, а чесночный дух перебивал утренний перегар. У предков Ермолая считалось позором прослыть выскочкой, для пращуров Онуфрия почёт означал быть на виду. Разорившись, первые пускали в лоб пулю, вторые — чужие деньги в оборот. И тех, и других завернули в овчину и, заляпав грязью, провезли на телеге, перепутав, как дождевых червей, так что было уже не разобрать, чьи ноги, свесившись набок, торчат из-под шерстяного тулупа. И вместе с именами свалили в яму, вырытую на краю земли. Её не было видно из тесной квартирki потомков, в крови которых они жили, но в сердца которых не достучались.

Оба служили искусству, но к его алтарю подходили с разных сторон: Онуфрий Пименов не верил в то, что писал, Ермолай Нибальсин — тому, что читал. Он ставил немоту выше косноязычия и время от времени публиковал отвлечённые эссе, за которыми угадывалась несчастливая судьба. Критики сравнивали его с Онуфрием. «“Сияло солнце”, — цитировал Пименова один из них. — Как оригинально звучит эта строка в устах человека двадцать первого века, наследника Джойса и Беккета, не побоявшегося вернуться к классицизму, человека, уверенного в том, что постмодернистская эпоха наполняет речь скрытыми аллюзиями и тонкой иронией. А вот, что мы встречаем на страницах у Нибальсина: “Сияло солнце”. Державинский слог — сегодня так изъясняются галантерейщики!» «Если Нибальсин молчит, будто воды в рот набрал, — добавлял его коллега, — то

Пименов носит молчание во рту, как зубы».

В тесноте они тёрлись спинами, становясь от этого, как правое и левое. Онуфрий носил своё время на цепочке карманных часов, а Ермолай вздрагивал от своего, как от будильника. Пименову заказывали статьи, он заполнял откровениями глянцевого журналы, напоминая между строк о своих заслугах.

— Я наградами рук не марал, — долбил своё Нибальсин, — и славой не запачкан!

А в ответ на вздёрнутую бровь цедил, будто ел манную кашу:

— У культуры свои циклы, быть гигантом в эпоху упадка, что карликом в период величия.

Он хотел бы родиться среди фиакров и вуалей, но его окружал интернетовский волапук и газетные комиксы.

— Какие там циклы! — возражал Онуфрий, который ел с ножа яблоко. — Всегда одно и то же: кто смел — тот и съел!

Сам он играл на понижение, убеждая, что писателю, которого не понимает домохозяйка, грош цена. Но Ермолай был упрям и стоял на своём, как памятник. «Слабоумие», — воротил он нос от цветастых обложек, а спохватившись, делал вид, что чешет плечом подбородок. С возрастом, однако, он сделался нерасторопным. Его проворство перетекло к Онуфрию, который всё больше походил на ловца блох. А Ермолай только виновато шурился, бормоча про себя, что слово — не воробей. Воскресенье уже давно обходило стороной его комнату, где он переписывал черновики до тех пор, пока, наконец, не понимал, что же хочет сказать.

«Блаженный», — махал на него Онуфрий, пряча руки в карманы.

Дальше — больше. Они уже едва терпели друг друга. Онуфрий всё чаще чувствовал себя столичным жителем, со-

сланным в провинцию, а Ермолай — провинциалом, родившимся в столице. С годами они стали на ножах. Но и в ссоре вели по-разному: к одному было на пушечный выстрел не подойти, к другому — на кривой козе не подъехать.

Бобылями остались рано. «Жениться — не замуж сходиться!» — приговаривал Онуфрий, которому больше повезло в браке, чем его жене. После развода он пустился во все тяжкие, измеряя годы в романах, проводя дивные ночи и скучные дни. «Жениться — не по росе пробежать!» — отклонял он предложения выкрасить сутки в серый цвет. Он засматривался на женщин, ледоколом рассекавших толпу, и они прятались за свою грудь, как за бруствер. А Ермолай, обжёгшись на молоке, дул на воду. Про таких говорят: женился, будто овдовел, развёлся — что умер. Хлопая дверьми, он бродил маятником по комнатам, свистел в усы и, марая бумагу, исчислял годы в романах, запертых в стол. Они скулили там, как брошенные псы, а издатели ёжились от них, как ангелы от греха. Ермолай проклинал холостяцкую жизнь с не меньшим ожесточением, чем семейную. Он хотел бы затеряться посредине, чтобы его оставляли в покое, а он бы приставал по желанию и гнул других, оставаясь непреклонным, как точка. У обоих росли сыновья. Онуфрий своего баловал, а Ермолай навещал в год по обещанью. Говорить с сыном было не о чем, он неловко косился на ногти и, вернувшись, старался поскорее забыть его, как кукушка, отлетевшая от чужого гнезда. Однако, расчёсывая «на пробор» седину, плакал. «Верно, не так прожил — раз никто не любит», — причитал он в нос, сморкаясь сквозь паутину красноватых прожилок. Всхлипывая, он жаловался зеркалу на нескладную жизнь, но, прислушавшись к стрёкоту часов за стенкой, брал себя в руки: «Чёрт, нервы...»

Месяцы лезли друг на друга и грудились, как бельё, которое не было сил повесить на верёвку. Онуфрий ещё

держался и ходил руки в брюки, по которым годы стекали с него, как с гуся вода, а Ермолай постарел: чужая жизнь теперь казалась ему драмой, а своя — комедией. По телефону его было уже не разговорить. «Дела...» — коротко извинялся он, вешая трубку. А потом долго сидел, уставившись в точку, словно видел полынью, скованную льдом, в которой бился, как рыба.

Онуфрий часто бывал в разъездах, повседневность сбивала его со счёта, как двоечника. «И чего шляется? — ворчал Ермолай, ероша по утрам волосы. — Горизонты пора открывать в себе». Он сидел девицей на выданье и лысел, как пень. Но, оставаясь в опустевшей квартире, не узнавал себя — в зеркале проступали черты уехавшего Онуфрия.

Колотя в засиженную слизняками дверь, я надеялся застать Онуфрия, но попал на Ермолая. Он открыл, как тюремщик решётку, — недовольный, заспанный, долго шаркая по коридору шлёпанцами. Запахивая грязный халат, жестом пригласил вперёд, и у него был такой вид, точно он всю жизнь готовился к чему-то важному, на что так и не решился, словно гипсовый прыгун в бассейне. Но я знал, что он всю ночь просидел за столом, ковыряясь в чернильнице под электрической лампой и мочась в задвинутый под стол горшок.

Он развёл руками, точно извиняясь за отсутствие Онуфрия.

— Один постигает пространство, другой — время, — неуклюже вставил я.

— Время и пространство — одно и то же, — вздохнул он. И рассказал

ПРИТЧУ О ЧЕЛОВЕКЕ,

который вышел из родного селения. Он шёл уверенной поступью, его провожали знакомые, желавшие доброго

пути. Он отвечал шутками и всюду встречал улыбки. Вслед ему махали платками, о которых он быстро забывал за разговорами с попутчиками. Просыпаясь, он видел рядом с собой счастливых женщин, а перед сном любовался новым пейзажем и солнцем, плывущим за далёкие горизонты. Но постепенно места делались глуше, стол и кров попадались не на каждом шагу, и редко встречались те, кто понимал его речь. А дорога уводила всё дальше. Он уже и сам не знал, зачем ступил на неё, но продолжал стаптывать сандалии, упрямо идя вперёд, точно его подталкивали в спину невидимые ладони. Редкий путник теперь кивал в ответ, а чаще — разводил руками, выслушивая жалобы, которых не понимал. И человеку всё стало чуждо — и горизонты, и странники, и слова. Он подумал, что где-то ошибся поворотом, выбрав не тот путь. Наконец, его окружила пустыня. Он плакал от одиночества, разговаривая с собой на забытом языке, и воспоминания становились старше его самого. Он вспоминал родное селение, отцов, покинувших свои дома, чтобы стать гостями в чужих, видел дедов, говоривших на одном им понятном языке, ушедших в пустыню и оказавшихся один на один с её великим безмолвием. Человек попытался объяснить себе цель путешествия, уверяя себя в его необходимости, слушал слова, от которых давно отвык, и уже не понимал себя.

Ему стало невыносимо. Он протёр кулаком глаза, оглянулся и вдруг увидел, что никуда не выходил, что всё время прожил в родном селении, в котором уже не осталось тех, с кем можно услышать одинаковую тишину.

Человек состарился: теперь кусок хлеба в чужом рту казался ему лёгким, а собственная шляпа — тяжёлой...

Я тихо откланялся, поняв, что Ермолай чувствует приближение смерти, как насекомые — приближение дождя. Провожая меня совиными глазами, он ещё долго стоял на лестнице, точно собирался сфотографировать мою спину, чтобы передать снимок Онуфрию.

Умерли они в один день. И лежат под одним камнем. «Ермолай Нибальсин (литературный псевдоним Онуфрий Пименов)» — выбито на нём.

HOMO SCRIBENS*

...И гордый гоголь быстро несётся по нём...

Н. Гоголь. Тарас Бульба

Мрачна, величественна и загадочна фигура ночи. Великолепная, она стоит неподвижно, как торжественный и немой сфинкс, как сокровеннейший памятник божеству, врытый в землю по самое основание, так что тщетны все усилия сдвинуть с места хоть на вершок эту тьму-тьмушую. Как жалок человек в сравнении с этим молчаливым и грозным исполином, как мал и ничтожен! А что день? Расфуфыренный и напوماженный кривляка, франт, который вышел прогуляться по Невскому, да заодно щегольнуть новым фракком, сшитым в долг у наимоднейшего портного в надежде на незнамо откуда должное свалиться наследство. Впрочем, почему незнамо? а хоть бы, например, и от тётушки его, добрейшей и почтеннейшей Авдотьи Никитишны, помещицы богатейшей, что вот-вот должна преставиться в энском уезде эмской губернии — в самом деле, почему бы и нет? почему бы ей и не преставиться, как положено всем другим? да вот, вишь беда: черти-то, тьфу на них, никак не берут старую перечницу! Но её ненаглядному племяннику не хватает терпения, ему невмоготу ждать, и теперь, упиваясь быстротечной радостью своей, которая, ох, как скоро кончится — знает он! чувствует это мелкая

* Человек пишущий (лат.)

глубина души его! — сыростью долговой ямы и гнилостным запахом тюрьмы, спешит он насладиться, как увядающая кокетка, последним балом своим, торопливо кланяется направо и налево, вздымая фалды, вертясь и вихляя перед проходящими кавалерами и, в особенности, дамами, которые, от души смеясь над ним, помахивают ему в ответ своими обманчивыми ручками, а он, словно не замечая ничего вокруг, рад-радёшенек продолжить театральный и комичный путь свой до тех пор, пока не столкнётся и не разобьёт себе лоб о бесконечно тяжёлый постамент ночи. Вот что такое день на фоне ночи. Он лишь трепетная тень её — суетный, обморочно бледный силуэт на божественном полотне мироздания! Но как изумителен италийский рассвет, возразят мне. И мы воздадим должное таланту, столь искусно набросавшему его краски на небесный холст, но всё же это работа только шаловливого и незрелого ученика, а отнюдь не мастера, который рачительно приберёт силы и всё умение своё для иной, великой картины — картины ночи, где смогла бы воплотиться вся замечательная мощь его, и потому не сравниться ей с бликасто-солнечным этюдишком дня.

Ночь. Ты бредёшь, сгорбившись, в её чреве, спотыкаясь в кромешной тьме. Одинокий, плутаешь во мраке, путаясь в лабиринте улиц и мыслей. Эй, кто ты? Откуда? Куда идёшь? Нет ответа. Лишь шорохи всевидяще слепой ночи да шёпот исписанных при догоревшей, как жизнь, свече, а после скомканных в бумажные шарики листков, которые катит по пустым тротуарам холодный бессмысленный ветер.

Что же ты бродишь, как призрак, когда все вокруг спят? Зачем пугаешь и будишь их? Разве ты что-нибудь потерял? Быть может, жизнь. Значит, ты её ищешь? Значит, ещё не нашёл? А хоть что-то взамен? Так, пару метафор, необычных доселе сравнений, дюжину ловких синекдох, да с десяток фантазий. О, Боже, как мало! Значит, ты, странник,

пришёл в эту ночь, длинную-длинную, как коридоры чиновников, где присутственное время уже истекло и служилый люд второпях снимает с вешалок замызганные шинельки свои, чтобы поскорее освободить сей важный департамент, который, пустея, будет теперь, как медведь зимой, погружаться в долгую беспробудную спячку, значит, ты явился в эту длинную и жуткую ночь только затем, чтобы отыскать здесь нечто неуловимое и мимолётное, как розопёстрая бабочка, которая вот только что под утро разорвала непрочный кокон и расправила чудесные крылья свои, или то недоступное, что неведомо где и существует, как цветок папоротника, что каждый раз на Ивана Купала неутомимо ищут полные надежд и веселья, ещё не растратившие их в бешеном, изнурительном хороводе чубатые парубки и ясноокие дивчины? Ты пришёл сюда встретить то, что непременно завянет днём, что замнут и затаскают грубые руки, то, что скоро, скорей даже, чем ты думаешь, сотрётся в общем гомоне языка. Посмотри, как жадно, словно огонь поленья, пожирает он всё, что ни попадётся ему! И как злобно хохочет при этом искристое пламя! Видишь? И это вместо собственной жизни? Ах, как глупо! И печальное, вторит тебе из угрюмой ночи гулкое эхо: «Глупо...»

И действительно, ужасно глупо, словно безумный, на белые и мёртвые, как волосы седого казака, страницы наносить письма своей души. Ведь даже с частицей души они всё равно мертвы. Мертвы! Эх, Николай Васильевич! Сжечь бы в раскалённой докрасна печке все эти мёртвые души! А? Страсть как хочется! Сразу и без мучений. Без проклятой стариковской слезинки, что медленно ползёт вдоль уныло повешенного в нездешней печали сиранодебержеракковского носа и, стекая, капает на скрипучие половицы, без всяких этих постыдных всхлипов и гаденьких, словно бы сморкаешься, рыданий. Одним махом! Или нет? Может, не стоит? Может, всё-таки не надо? Э, да бросьте вы, пройдёт!

Пройдет, разлюбезный собрат, Николай Васильевич! Вон уж слышно, как скрипнуло перо ваше — обмакните его скорей в чернильницу, а родись вы чуть восточнее, так опустите кисточку в тушечницу да заверните историю так, как заворачивают пироги на ярмарке в Сорочинцах (так славно пироги умеют заворачивать только у нас на Руси, когда все кругом стоят обалдело, разинув рты, да чешут затылки, приговаривая: вот эдак завернул! завернул, так уж завернул!), да заморочьте бедные головушки всем этим евлампиям никанорычам и аристархам феофилактычам, которые только и делают, что чаёвничают, откушивают, потчуются да изволят почивать, как в своё время, в отрочестве заморочили вашу драгоценную голову истории всяких геродотов и полибиев. Ишь, выискались щелкопёры, бумагомараки греческие!

«Да что толку морочить-то? — спросит вдруг кто-то недовольным голосом и нахмурит строгие брови свои. — И так все кругом врут!» Но не поддавайтесь, милый Николай Васильевич! Не поддавайтесь! Лучше очертите вокруг себя мелом, и да оградит этот круг вас от страшных подземных голосов, от сурово насупленных бровей и глаз, что скрывают железные веки! И, бога ради, не отвлекайтесь!

О, я и так вижу, как вы криво усмехнулись в тонкий рот свой, выводя: «И гордый гоголь быстро несётся по нём...» — я-то знаю, что вы тогда подумали острым умом своим.

Ну что ж, неситесь, Николай Васильевич! Плывите по волнам буйного своего воображения, и пускай вас подгоняет ветер из словечек, которые позаковыристей, и ни с чем не сравнимых оборотов речи! Пусть пронесётесь вы гоголем по незашелохнувшемуся речному зеркалу мимо сереньких уток-качек, мимо краснозобых курухтанов, мимо куликов и мимо злобно притаившегося в густых камышах охотника, который, как ни целится, обязательно даст промах и в досаде на неумелость и всем очевидную

бессильность свою, топая сапогами в болотной жиже, будет ещё долго потом кричать и ругаться, плюя вслед, браня и пороча ваш изысканнейший полёт! Счастливого вам пути! Счастливого вам пути и там, где, наверное, уже не встретишь никаких охотников, где уже нет ни куликов, ни звонких лебедей, ни всяких иных птиц, что водятся здесь в тростниках и на побережьях, нет там, наверное, и дорог, по которым летают птицы-тройки с отчаянными ямщиками, перед которыми все расступаются, ни брочек со степенными кучерами, от которых редко когда дождёшься окрика: «Эй, залётные!», нет ни Миргорода с его развешенными на плетнях глиняными горшками, ни пасечника Рудого Паньки, ни галушек в сметане, нет даже самой Святой Руси, а есть только одна ночная мгла, которая заволокла и заполнила всё тамшнее пространство.

Чу! Слышите, как в этой раскинувшейся над миром, распростёртой, словно гигантское бездыханное тело, тихой, но и не украинской только, а даже выходящей далеко за бескрайние пределы украинские, ночи кому-то не спится? Пишущий человек! Исполнишь высшей силы и переложи эти ветхие, как платышко титулярного советника, буквы в новом порядке, настрой их на новый лад так, чтобы слова, как опытейший в импровизации музыкант, сами бы нажимали на клавиши, что торчат в мозгу у читателя, заставляя их наигрывать ту единственную и дорогую, словно колыбельная, под которую баюкала его в люльке любимая матушка, вечно юную мелодию, да так зачаруй его трепетными звуками её, чтобы, остолбеневший и обомлевший, он только бы и смог, что промолвить самому себе потаённо и в изумлении: «В искусстве — Бог!»

ПОЭМА В ТРЁХ СНАХ

В то утро Матвея Дрока разбудила неясная тревога, которая не покидала, пока он собирался на работу. Он стоял с намыленной кисточкой перед зеркалом и видел в нём своё одиночество. Была весна, которую Дрок уже много лет не отличал от осени, и на проталинах цвели ландыши, которые он путал с первым снегом.

Дрок работал в риэлтерской конторе и думал, что каждому выпадает своя порция безумия. Когда-то ему представился случай, бросив всё, уехать далеко-далеко, за тридевять земель. Но он не поехал. И теперь часто думал, что каждое мгновение продолжает куда-то не ехать.

Жена Дрока своим единственным недостатком считала отсутствие недостатков. «Живи не по заповедям, а по формуле, — учила она, возвращаясь с курсов по восточной медитации. — Эта формула у каждого своя и называется “Как стать счастливым”». «Свой счёт заморозь, а живи за чужой!» — читал на её лице Дрок. А когда развёлся, взял за правило ни о чём не жалеть и ни к чему не стремиться.

Повязав галстуком накрахмаленную рубашку, Дрок заправил её в брюки и, нагнувшись, зашнуровал ботинки.

На дороге было оживлённо, Дрок пристроился за автобусом с табличкой «ДЕТИ» на заднем стекле. На перекрёстке автобус резко затормозил, и Дрок уткнулся в его заляпанный грязью бампер. Из кабины вылез водитель,

годившийся Дроку в сыновья. «Царапина», — окинул он быстрым взглядом машину и жестом пригласил Дрока в кабину. Дрок поднялся, водитель сел за руль. Передняя дверь со скрежетом закрылась, а через заднюю выскочил рыжий парень. Дети на сиденьях не шевельнулись. Автобус тронулся, и в боковом зеркальце Дрок увидел свою машину, которую вёл рыжий.

Дрок растерялся:

— Меня похитили?

— Это большая честь, — бросил через плечо шофёр. —

Многих похищают?

Дрок машинально мотнул головой.

— Вот видишь!

Дрок был сбит с толку.

— Но это противозаконно...

Его встретило глухое молчание.

— Вы слышите, я не хочу!

На мгновенье Дрок осёкся. Он посмотрел вглубь автобуса, где с дырчатых полок свисали чемоданы.

— И куда мы?

— А не всё ли равно? Разве ты что-то забыл?

И Дрок опять прикусил язык. Несколько минут он стоял в оцепенении, а потом достал последний козырь:

— Меня станут искать.

Водитель ухмыльнулся.

И, поняв, что проиграл, Дрок опустился на ступеньку. Мелькали городские улицы, зевали арками серые здания.

— И когда меня отпустят? — завёл Дрок старую песнь.

— Вот и поговорили, — вздохнул водитель, — «Я лечу!» — сказала муха, «Я лечу!» — ответил врач.

Дрок пожал плечами. Отвернувшись к окну, он дождался, пока выехали за городскую черту, потом сосчитал до пяти и произнёс как можно спокойнее:

— Но я планирую...

— И я планирую! — перебив, расхохотался шофёр. Отпустив руль, он развёл руки в стороны, как самолёт.

«У-у-у...» — надув щёки, поддержали его маленькие пассажиры, краснея от натуги. Дрок скривился и, пройдя в салон, бухнулся рядом с аккуратно причёсанным мальчишкой. Тот посмотрел в упор, кого-то напомним. И только к вечеру Дрок догадался, кого. Перед ним всплыли фотографии, на которых опрятный ребёнок склонился над учебниками, где читает своё будущее, которое видит яснее букв, горбится над тетрадкой с каракулями, где счастье проглядывает из-за клякс, как солнце из-за туч. И Дрок подумал, что у этого ребёнка ничего общего с мужчиной, вперившимся в беспросветную мглу за окном.

А ещё подумал, что потерял своё имя.

— Мы дадим другое, — вдруг произнёс сосед. — Как при крещении. — Он на мгновение задумался, ковыряя пальцем в носу: — Ты будешь Никола Двора.

— Почему?

— Раз ничего не нажил.

«Ни кола, ни двора!» — загалдели вокруг.

За окном плыли дикие поля, грозно темнели островерхие леса, и город казался ничтожным перед их великим безмолвием. Внезапно Дрок открыл формулу своего счастья: «Говорить о вечном, думать о душе и считать звёзды!» А он говорил о деньгах, думал о деньгах и считал деньги.

— Там смотрят один телевизор, спят в одну сторону и видят одинаковые сны, — перебросил через плечо кулак с оттопыренным большим пальцем сосед. — Там боятся потерять своё лицо, а потому хлеб добывают в поте чужого. И там не бывает манны небесной. Потому что её некому сыпать.

Дрок кивнул, вспоминая, как надеясь меньше работать, работал всё больше, и прежняя жизнь представилась ему болезненным детским кошмаром, от которого спасал бой

часов, когда мать, склонившись, ласково гладила взмокший лоб: «Просыпайся, просыпайся, Марк!»

Марк Драк беспокойно заворочался и открыл глаза. Была весна, пахло талым снегом, а под окнами распустились подснежники, которых Драк не видел много лет. «Как в жизни», — тёр он глаза, вспоминая сон. А потом, застыв перед зеркалом с лезвием у щеки, видел своё одиночество и думал, как прожить и не сойти с ума.

Жене с Драком повезло, а ему с ней нет. Она заставляла его на людях быть мужчиной, а в постели женщиной. Но после развода стало ещё хуже. Драк вспоминал большую семью, где жил в «примаках», неприветливого, угрюмого тестя с вечно нечёсаными, всклоченными волосами, который часами сидел в углу, сочиняя палиндромы. «Вместо тестя видит тесто! — целил он в зятя карандашом и выстреливал очередным палиндромом: — А казак ищет у тёщи казака!» У него болела печень, и, отодвигая дымившееся жаркое, он вымученно улыбался: «Не до жиру, быть бы живу!» При этом воспоминании Драк скривился и, отложив бритву, влез в прорезиненные сапоги. Погода уже неделю стояла «не кажи носа», но Драка ждала работа. Он был младшим менеджером в супермаркете и недавно прошёл курс повышения квалификации.

— Нам учился, — с улыбкой встретили его начальники.

— Намучился, — эхом откликнулся он, кивнув, как увядший бутон.

Шоссе было узким и пустынным. На светофоре Драк упёрся в автобус. Вспыхнул зелёный, но тот не двигался. Драк дал гудок. Выждав с минуту, вылез из машины. «Как во сне», — постучал он в кабину, разглядев затылок шофёра, рывшегося в бардачке. Двери открылись. Драк поднялся в автобус. И тут его охватил страх: на него уставилась сотня детских глаз. И он понял, что наступил на те же грабли. Рыжий уже садился за руль его машины.

— Выпустите! — забарабанил по стеклу Драк.

— Не шали, дядя! — загалдели вокруг.

И, чуть не оторвав рукава, потащили Драка на заднее сиденье. Ехали в полном молчании. Отвернувшись к окну, Драк гадал, на какой день сбываются сны. А потом вдруг вспомнил, как в школе их водили в театр. В классе пахло прогорклым маслом, длинные тёмные коридоры освещались по вечерам тусклыми лампочками, а днём через запылённые окна едва пробивалось солнце, и на переменах строгие, нахмуренные учителя возвышались над детьми, как трубные ангелы. И в тёмном зале, куда их привели после уроков, по бокам высились колонны, со сцены доносился запах прогорклого масла, а выцветший, как половая тряпка, занавес был похож на грифельную доску. Давали пьесу о школе, и Драку показалось, что он узнаёт среди персонажей своих однокашников, с замиранием сердца уткнувшихся в парту, когда учитель водит пальцем по журналу, узнаёт себя, стеснявшегося поднять руку, чтобы выйти, видит даже муху, отвлекавшую от тягостного ожидания звонка. Испугавшись, что узнает своё будущее, Драк выскочил из театра. А ночью, кусая заусенцы, жалел об этом и думал, что пройдёт много лет и он вспомнит этот случай и опять пожалеет, что не дождался концовки, в которой будущее раскрывало карты.

К вечеру автобус прибыл в лесной лагерь. Вдоль ручья, как грибы, кренились трубами летние домики.

— Подъём на рассвете, — захлопнули за ним дверь.

— Меня станут искать! — крикнул он вдогонку.

— Кто? — расхохотались снаружи.

И Драк опустил на визжащую пружинами кровать. Ночью ухали совы, в оконные щели тянуло сыростью, и Драк, сложив ладони под головой, глядел на низкие звёзды. Мальчишкой он бывал в таких же лагерях и, упираясь взглядом в черневшее небо, мечтал, как распорядится

своим временем, как не допустит его медленного течения, сводящегося к вращению тяжёлого, будто у водяной мельницы, колеса.

К утру распогодилось, матово заблестело солнце, и под колёсами забрызганного грязью автобуса распустились подснежники. Драка окружили голые, сиротливые деревья, он увидел отливавшую зеленью прелую кору, в морщинах которой проступал мох, увидел плывший мимо густой, липкий пар, поднимавшийся из-под ног с тёплой, сырой земли, увидел грачей, черневших на мокрых, с набухшими каплями ветках, и внезапно почувствовал, как отступает его одиночество.

За домом раздалось неясное бормотанье, и появился вихрастый, веснушчатый мальчишка. Драк узнал бывшего тестя, детские фотографии которого хранились в комодке, перевязанные тугой бечёвкой, и по семейным праздникам раскладывались, как карточный пасьянс.

Драк не удивился встрече, а когда «тесть» поравнялся, подал руку:

— Совсем весна...

— Эх, голубок, — пожав её, многозначительно изрёк «тесть», — глубок клубок, когда лубок.

И Драк вдруг понял, что тестю было также одиноко, что, страдая от женского своеволия, от жалкой неустроенности в бабьем царстве, он прятался за бессмысленные палиндромы, загораясь частоколом вывернутых наизнанку слов.

— Высок висок, входящий в сок! — подмигнул Драк.

И точно разведчики, обменявшиеся паролем, оба облегчённо вздохнули. И Драк недоумённо пожал плечами, вспомнив, как прошёл мимо руки, которую отчаянно протягивал тесть единственному в доме мужчине.

— И что мне здесь делать? — доверительно прошептал Драк.

— Ничего, как и раньше, — откликнулся «тесть» без обычных присказок.

От смущения Драк опустил глаза:

— Но чем заняться?

«Ничем», — прокатилось по лесу гулкое эхо, вспугнутое грачиными криками. Драк поднял глаза. Он стоял один посреди весеннего леса, раскинув руки, как пугало. Перебирая шаг за шагом свою жизнь, он мысленно проходил дорогу, приведшую сюда.

И, точно отрезая прошлое, рассёк воздух ребром ладони.

В это мгновенье Лука Друк привычно ударил кулаком по постели. Много лет Друк просыпался с жёнами, но вчера развёлся с очередной. В последние годы жена обрела смысл в борьбе с весом и, обозлённая диетами, находила успокоение в семейных блицкригах. Вместе с тещей, отвоёвывавшей у вечности лишний день, они пилили Друка двуручной пилой. К старости тёща записала в заклые враги мясо, как раньше мужчин, и за обедом, когда Друк мазал аджикой тонкие ломтики сала, фыркала: «С жиру — бесятся!»

Трогая щетину, Друк подумал, что зарастает всё быстрее, превращая бритьё в сизифов труд. Он не выносил зеркал и привык считать себя человеком без возраста, но с каждым годом замечал, как стареют ровесники, и давно ловил себя на желании больше говорить, чем слушать.

Он работал в агентстве недвижимости консультантом по рекламе. И ненавидел свою работу. «Это потому, — говорили ему, — что не научился завидовать тем, кто получает больше, и презирать тех, кто меньше». И Друк соглашался, испытывая лишь бесконечную жалость. В детстве его отправляли на лето к деревенским родственникам, и Друк вспоминал, как те резали кур. «Чувствуют, что умирают, — гнули им головы под нож, — вот и трепещут». А потом,

выпуская кровь, оставляли бить крыльями во дворе. И Друк в слезах прятался среди развесистых, густых лопухов. За ужином, отодвигая тарелку с бульоном, он притворялся больным и не мог ответить на улыбки, как позже нигде не мог стать своим.

На пустынной, раскисшей дороге, вцепившись в руль, как единственную реальность, Друк вспоминал, кем был во сне, и его не покидало странное предчувствие, что сон сбудется. Он не удивился, когда впереди вырос оранжевый автобус с табличкой «ДЕТИ», и он в мгновение ока оказался посреди весеннего леса, размахивая руками, точно открещиваясь от прошлого.

— Ты повернул направо, но пошёл прямо, — раздалось за спиной.

Её звали Зорислава Скубач. Они учились в одной школе, и после уроков Друк часто провожал её домой. Зорислава приехала из бедного местечка, где даже клизму брали напрокат. О евреях Друк только и знал тогда, что они едят справа налево, читают слева направо, говорят, как слышат, а думают о своём.

— Мы играем в индейцев, — улыбнулась Зорислава. — Раньше мы были бледнолицыми, а теперь сменили имена. И ты у нас будешь Володя Одна Тень.

— Но почему?

— Потому что нерасторопный, и у тебя всё не так.

«Володя-через-пень-колода!» — высунулись из окна дети. Друк швырнул в них грязью, которая поплыла по стеклу. И вдруг понял, что из всех имён, которые носят при жизни, важно только первое, а из всех лиц — то, с которым умирают.

— Возьмёшь меня в жёны? — обняла его Зорислава тонкими бледными руками.

И Друк только сейчас заметил, что она не изменилась.

— Ты ещё ребёнок.

И вспомнил, как, дожидаясь на школьном дворе с букетом жёлтых флоксов, топтал в лужах осенние листья. А потом появилась его первая жена, и он поплыл в её тесные объятия.

— Я — женщина, а ты был женат на ведьмах!

Друк хотел сказать, что стар, но она прикрыла ему рот ладонью, и он подумал, как глупо жаловаться, что прожил слишком много.

— Но я слышал, ты была замужем и рано умерла.

— У лжи длинный язык, зато короткие ноги. Про тебя тоже много болтали. Ты же хотел быть художником...

Она осеклась.

— А пошёл на факультет денежных наук?

Друк скривился. Из университета он только и вынес, что не все смертные — люди, что Сократ — человек, а он — не Сократ. И главное — смертен. И вдруг подумал, что умер ещё на школьном дворе, когда, расставшись с Зориславой, утратил способность чувствовать.

«Эх, Володя, Володя!» — опять раздалось из окна. Друк запустил грязным снежком.

— Это же наш класс, — остановила Зорислава. — Не узнаёшь?

Друк пригляделся.

— Вон тот, кажется, мечтал стать астрономом, — ткнул он пальцем в рыжего.

— И стал. Теперь советует всем почаще задумываться о красном гиганте.

— О чём?

— Звезда такая. Её облетишь на самолёте лишь за тысячу лет.

Друк нахмурился.

— А чего о ней думать? Там нет любви.

Потом взял Зориславу на руки и, наступив на порог, который охнул, будто от боли, внёс в дом.

«Не задень о косяк!» — кричали одноклассники. Они превзошли себя: строили рожи, отбивали чечётку, кувыр-кались под вышедшие из моды мелодии. А, устав, заснули на полу, свернувшись клубком.

Так Друк женился. В постели он впервые почувствовал себя мужчиной, и впервые в браке ему не хотелось изменять. Лагерь превратился в интернат распущенных детей, где он был единственным взрослым, который не мог учить жизни, потому что от неё сбежал. А потом упала ложка. «Ой, женщина придёт!» — всплеснула руками Зорислава. И не ошиблась — к вечеру пришла её смерть.

После похорон, на которых спустившимися с неба верёвками струился дождь, Друк слонялся по дому, выросшему вдруг до размеров красного гиганта, и выл от одиночества. Однокашники не приходили, а из окна больше не был виден заляпанный грязью оранжевый автобус. Лагерь опустел. И Друк понял, что он существовал только для него. Как театр в его сне. А теперь опустился занавес. По ночам, когда по крыше барабанил дождь, Друку во сне являлась мать, которой он теперь был старше.

— Как поживаешь, сынок?

— Хорошо, мама, — опускал он глаза.

Но мать видела его одиночество, глубокие морщины и тихо плакала.

Мгновенье — и промелькнул год, опять была весна, которую не отличить от осени. У Друка всё не шёл из головы его сон, он вспоминал героев, слепо бредущих на поводу у судьбы, и думал, что этот длинный, длинный сон, как погода, — один на всех. В этом сне он ещё недавно верил в бабу-ягу, из-за которой не ходил в лес, и в домового, не пускавшего в тёмный подвал. Какая разница, во что верить? А потом, повзрослев, ходил с матерью в церковь, с Зориславой — в синагогу, а с одной из жён — к экстрасенсу. Какая разница, во что не верить? Припомнив свою жизнь, Друк

подумал, что, возможно, и сам он только кому-то снился. Ему вдруг представилось фантастическое существо, из пасти которого появляется другое, у которого рождается третье, и эта лента извивается, как змея, хватаящая себя за хвост. Опустились сумерки. Друк сосредоточенно тёр виски и думал, что тот, кому он снился, должно быть, как в трёх соснах, заблудился в трёх снах, герои которых смешались, перепутались, будто старое тряпьё, сваленное на чердаке.

И вдруг Друк увидел себя будто чужими глазами, а своё прошлое — как неумело склеенную ленту. И подумал, что люди живут так, точно видят себя во сне.

Брезжил рассвет, растянувшись на постели, Друк наблюдал, как на стене гаснут лунные пятна.

«Одна Тень», — прошептал он.

В то утро от неясной тревоги проснулся Матвей Дрок.

СЕКТА ПРАВДЫ

Сын киевского башмачника Нозар Правда в юности учился в униатской семинарии и спускался проповедовать к днепровским порогам. Однажды он попал там в лапы козаков.

— Ты кто? — устроили они пьяный допрос.

— Правда, — простодушно ответил он.

— На свете нет правды, — мрачно ухмыльнулись они, тряся чубами.

Один отрезал Нозару язык, другой проколол ушные перепонки.

— Вот теперь ты и впрямь правда — иди, куда глаза глядят!

С тех пор Нозар возненавидел белый свет. Пересчитывая его четыре стороны, он злобно плевал против ветра, который всегда дул ему в грудь и никогда — в спину.

Мирона Оныкия он подобрал на постоялом дворе. Мирон был сиротой и кормился обедками — хозяева терпели его из жалости, но лишний рот никому не нужен. Он спал, свернувшись калачиком на соломе, зажимая в угол горб, а в ногах у него умывалась кошка. «Мирошка — за плечами картошка!» — проходя мимо, пинали его хозяйские дети, передразнивая неуклюжую походку. Уродлив он был от рождения: горб давил к земле, так что собака хвостом могла выбить ему глаз, а руки при ходьбе зачерпывали горстями лужи. Прежде чем взять его с собой, Нозар раз-

ломил сухарь и дал погрызть, внимательно наблюдая, точно вслушивался в хруст своими немощными ушами, ведь для бродяги, как и для волка, главное — крепкие зубы.

Так глухонемой Нозар стал изъясняться через калечного поводыря.

— Ы-ы... — закатывая белки, мычал он.

— Один друг — уже немало, а тысяча — не так много, — бойко переводил Мирон.

Он овладел грамотой в монастырских кельях, долгими, зимними вечерами переписывая за кусок хлеба Евангелие. Рано убедившись, что миром правит не астрономия, а геономия, он первым делом узнавал, на кого из монахов наложили епитимью переписывать новозаветные морали и, пробираясь к нему тайком, корпел над непослушными буквами. У Нозара по ночам ныли кости, пьяный от бессонницы, он много раз пытался представить скрип, когда под утро сквозь дверную щель в комнату проскальзывал лунный свет, а в нём — бледный от усталости Мирон. Плюнув на пальцы, горбун гасил свечу перед образами и, хлестнув волосами темноту, как ворон на добычу, кидался на дощатую кровать.

Из года в год ходили по хуторам, кормились, чем бог послал, и ночевали, где придётся. Зимовали при монастырях, ухаживали за скотиной, таская на мороз тяжёлые вёдра помоев, а летом теснились в шалаше, где места и одному мало, зато комары — с ноготь, христарадничали и продавали по сёлам лапти, которые плели из бересты.

«Мирошка идёт — Правду ведёт!» — бежали с околицы дети, распугивая уток и кур.

В тени церковной колокольни, пока на воткнутой в землю палках сушились лапти, Нозар развлекал селян. «Жил-был человек, — громко пояснял Мирон его жесты, — у которого под стеной поселилась змея. Человек подносил к её норе молока, а она берегла дом от порчи. И человек

процветал. Но однажды его жена налила молока сыну, змея выползла и стала пить вместе с ним, ребёнок стукнул её по лбу ложкой, а она его ужалила. Мальчик тотчас умер, — здесь Нозар валился на траву, закрывая глаза, несколько раз дёргал ногами, — а взбешённый отец бросился на змею с ножом. Однако она успела забраться в нору, и он только хвост отрубил... С тех пор дела человека пошли из рук вон плохо. И сказали ему мудрые люди: “Это оттого, что раньше змея принимала на себя твои беды, а теперь ты один несёшь свою судьбу”. И пошёл человек к змее мириться: опять подставил к норе миску с молоком и стал ласково нашёптывать. А она ему отвечает: “Былого не вернёшь, разбитого не склеишь. Если мы даже и помиримся, то как взгляну я на свой обрубок, так и вспыхнет во мне злоба, а как вспомнишь ты про сына, так и зайдёшься в бешенстве. Уж лучше нам жить раздельно!”»

Крестьяне чесали затылки и не могли взять в толк, к чему этот рассказ, а после махали рукой: одно слово — странник.

«Это к тому, — не моргнув, находился Мирон, — что всё обязательно сбудется, но — по-другому».

А бывало, Нозар заводил другую песню. Сядет побасурмански, скрестив под собой пятки, и шарит глазами, пока все не отвернутся — никто не мог вынести его тяжёлого, беспокойного взгляда.

Однако он умел заговаривать зубы и лечил язвы наложением рук.

Все здоровые похожи друг на друга, каждый калека страдает по-своему. Нозар пропускал время через себя, как ветер сквозь сито, а Мирон копил ночи и хоронил дни, складывая в горб. Но для обоих жизнь маячила за горизонтом, оставаясь журавлём в небе. Их провожали стаи галок, по многу раз успевающие вывести птенцов, пока они размечали дорогу кострами, которые тушили,

мочась на угли. И с годами Мирон стал обгонять Нозара на шаг. Где тот выпрашивал копейку, Мирон выцыганивал алтын, Нозар выучился читать по губам, Мирон — по глазам. Однако Нозар по-прежнему угощал приёмыша палкой и целыми днями кормил мочёными яблоками, от которых урчал живот. Отвернувшись, Мирон орал тогда во всю мочь, краснея от натуги, клял Нозара на чём свет стоит. Нозар, однако, понимал это по-своему, трогая за рукав, каялся, забывая, что обида, как камень в сапоге, — точит, пока не достанешь.

А между тем вокруг запылало восстание, которое не разбирает ни правых, ни виноватых. Все ненавидели всех, и каждый перетягивал Бога на свою сторону.

От запаха сырой земли Мирона душил кашель, и он, задирая ноздри к солнцу, грел их, упираясь затылком в горб. Уже три дня шли они по лесу, питаюсь комарами, сосущими их кровь, и ещё три — топтали степной ковыль, когда невнятное бормотанье Нозара перебил гогот гусей и набат церковного колокола.

Однако к затерянной в глуши деревне вышли невовремя — на неё налетел отряд Вишневецкого.

Пан Иеремия, как кошка, смотрел на мир вертикальными зрачками, разрубал человека так быстро, что половинки успевали увидеть друг друга, и под солнцем вращал над головой саблю, оставаясь в тени. Он не любил ходить вокруг да около: чтобы познать вещь, ему, как зверю или ребёнку, нужно было положить её в рот. Вокруг него грудились люди в чёрных капюшонах, с косыми скулами и челюстями, как серп. Они уже спалили церковь греческих отступников и теперь, кидая смоляные факелы, поджигали жилища. «Убивайте их так, чтобы они чувствовали, что умирают, — размахивал плетью предводитель. — Пришёл Судный день, и незачем сластить пиллюлю!» Рассыпавшись по деревне, вишневцы с гиканьем хватали всех без разбору,

вырывая с земли, как сорную траву, отправляли на небо. Их капюшоны уже пропитались семью потами, а они продолжали бесноваться, пока, наконец, не устали.

— Какой вы веры, убогие? — отставив назад локти, растянулся на гумне пан Иеремия.

В зубах он перекачивал соломинку, на которой, как пиджак на гвозде, висела съёжившаяся улыбка. Ударяя кулаком в грудь, Нозар завыл, было, об униатстве, расплющивая палец о проколотые уши и отрезанный язык. Но обида, как камень в почках, изводит, пока не выйдет. И Мирон подстерёг случай — шагнув вперёд, чтобы спутник не видел его губ, выдохнул:

— Греческой.

Иеремия поморщился и выплюнул соломинку.

— Завтра Пасха, — стеганув плетью по сапогу, вскочил он, — так что одного отпускаю.

Миرونу словно нож под ребро сунули, ни жив, ни мёртв, он опустился на колени. А Нозар пустился на хитрость.

— Он говорит, — едва успевал переводить Мирон заплетающимся языком, — что ты переживёшь его только на день.

Глаза Иеремии налились кровью.

— Одного из двух, — прохрипел он.

И тут Нозар Правда стал Богом. Ибо только Богу доступно отречься от себя. Обогнув Мирона, он в три шага покрыл расстояние, на которое отстал от него за годы, и, заглянув в кошачьи зрачки, прочитал в них своё будущее.

Иеремия всё понял без слов. Повернувшись, он сделал жест людям в капюшонах, и те поволокли Нозара на площадь. Он едва успел скинуть штаны, как уже смотрел на мир, сидя на колу. Хлынул дождь, капли, смывая кровь, застучали по лужам, а первая же молния, испепелив, вознесла Нозара на небеса. Но Иеремия этого не дождался. Оседлав коня, он поскакал навстречу судьбе, увозя в перемётных

сумах преступление и наказание. На другой день он сел разговляться и, закусив мёд солёным арбузом, свалился под стол, предоставив лекарю дивиться скоротечности лихорадки.

А Нозар, возможно, пополнил бы список местных святых, если бы Иеремия не вырезал деревню под корень, пощадив лишь детей. Они выросли в диком, обезлюдевшем крае, вдалеке от дорог, и со временем среди них укрепился культ Правды. «Вы пережили светопреставление, — воздев персты, наставлял их Мирон, — на ваших глазах умер Бог. Царство Господне не от мира сего», — вёл он их по лесам, где сумрак сгущался наперегонки с выплывавшей поверх деревьев луной. И постепенно глухота и немота стали главными атрибутами Бога, наряду с беспомощностью и неприкаянностью. В неокрепших сердцах Кол заменил Распятие, Нозар вытеснил Христа. Мирон Оныкий, его единственный апостол, сын, предавший отца, переписал главы его жития, как раньше переписывал главы библейских преданий. «Прошлое, что мертвец, — оправдывал он себя, — на него всё спишешь». Пройденные дороги зарастали бурьяном, и Мирон понял, что книга и жизнь дополняют друг друга: в жизни дают репей — в книге распускается цветок.

Нищие взрослеют рано. Разламывая краюху мозолистыми руками, подростки хлебали щи без соли и не искушали себя богословскими спорами. Их вера родилась из трагического чувства жизни и презрения к словам. «Не донимайте Бога молитвами, — запрещал сочинённый Мироном катехизис, — он слышит не ваши слова, но — ваши помыслы».

Спустя годы воображение подсказало одному маляру восстановить лик Правды. Но Мирон запретил: икона, как Бог, должна быть одна. И, взяв кисть, сам изобразил сцену суда. Иеремия на картине превратился в сатану, Нозар — в Бога. Однако для многих олицетворением божественной

казни стал горшок на шесте, перед которым подолгу стояли, молча царапая ногтями на жилистой шее вертикальную черту, заменившую крест.

Нет Бога, кроме Правды, и Мирон пророк его. Символ не мерк — правду продолжали сажать на кол, но царства рушились, гибли правители — и в этом видели подтверждение вечного пророчества своего Бога, предрекшего смерть гонителя. «С Правдой и в аду рай, без Правды и в раю ад», — прилизывая слюной брови, щурился Мирон, веря под старость в собственную выдумку. А постарел он в одночасье — так проседает дом, осыпающийся седой штукатуркой. Раз в плывших сумерках глянул в зеркало и вместо себя увидел Нозара, приглашавшего на кол.

— Я уже оплатил зло, — прочитал он по губам, — теперь твой черёд.

— Ты сам себя убил, сам! — замахал руками Мирон.

Зеркало треснуло, и он завесил его овчиной.

Но с тех пор ощущал в спине невыносимую боль, будто из горба вместо позвоночника торчал кол, слышал во сне карканье ворон и, выступая на шаг, предавал опять и опять...

Вера без чуда, что каша без масла, и Мирон, став патриархом, от имени своего глухонемого Бога обещал спасение. «Когда-то человек и Бог жили в одном доме, — вспоминал он Нозарову байку, — а потом насолили друг другу, и теперь им не быть вместе». Затем он говорил о предопределении, прислонив к печке горб, судил избранных, а оставшись один, долго качал головой: «Кому астрономия, а кому гастрономия...»

Дни стучали, как рассыпавшиеся бусы, у Мирона оставалось всё меньше зубов и появлялось всё больше морщин, которые, собираясь у рта, заменяли сжёванные за жизнь губы. Его нос оседлали очки, и он всё больше погружался в праздную сосредоточенность: перебирая бумаги, никак

не мог отделить в них прошлое от настоящего — путаясь, записи под его руками осыпались, будто сделанные песком. «В изнанке любой правды — ложь», — успокаивал он себя, убеждая, что его Богу было суждено самоубийство. Но в душе его глодал червь. Борясь ночью с постелью, он не знал, куда деть горб, и боялся встречи с Нозаром. Отодвигая этот час, пил отвары из чудодейственных трав, однако перед смертью нашёл в себе мужество взглянуть на мир поверх очков.

«Отправляюсь на тот свет, раз на этом Правды нет», — слова, которые приписала ему молва.

После Мирона секта сразу распалась, и всё же у созданного им учения были все атрибуты религии: миф, пастырь и горстка приверженцев.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Когда писалась эта книга, на дворе была эпоха аудиовизуальной культуры, которая, как выразился герой одного из рассказов, жгла иконы, чтобы варить мясо. Но я так и не преодолел её барьера. Я по-прежнему вкладывал чувства в слова, изобретая баллисты и катапульты, которые должны поразить сердце. Но в отличие от строителя из Меца я знаю, что история не терпит повторений.

Сборник «Секта Правды» посвящается исчезающей секте читателей.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
ВЕЧНАЯ ПЕСНЬ	4
ГЛАЗА	17
ОСЕННИЙ РОМАН	40
РАЗМЕРОМ С КАРТИНУ	47
ФРАНЦУЖЕНКА	54
ИСТОРИЯ В ПЯТИ ЛИЦАХ	59
ЛОВУШКИ ИЗ ПОТЕРЬ	79
СДЕЛКА	85
ЭПИСТОЛЯРНЫЙ РОМАНС	91
ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ	101
АПОЛОГИЯ КРИСТОФЕРА ДОУСА	114
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ	120
РАССКАЗ, ВЫСТАВЛЕННЫЙ В ИНТЕРНЕТЕ	126
КРОВИНОЧКА.	133
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.	138
У ЗЕРКАЛА	147
«СТАРЛЕТКА».	154
ЛЕГЧЕ ПУСТОТЫ	162
ЗА ПЯТОЙ ЗАПОВЕДЬЮ	202
СНОВА В СССР	206
ДНЕВНИК ШИЗОФРЕНИКА	214
ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС	222
ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛЛИВЕРА	228

ЧЕТЫРЕ СТЕНЫ	235
СЛОВО.	243
ПО МОТИВАМ ВИРТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ	249
ДВОЕ.	259
НОМО SCRIBENS	267
ПОЭМА В ТРЁХ СНАХ	272
СЕКТА ПРАВДЫ.	283
ПОСЛЕСЛОВИЕ	291

Литературно-художественное издание

Зорин Иван

СЕКТА ПРАВДЫ

Рассказы

Редактор, корректор *Е.Б. Александрова*
Корректор *Н.И. Иванова*
Дизайн и вёрстка *М.А. Воденина*

Подписано в печать 05.12.2010. Гарнитура TextBookC. Формат 60×84 /16.
Усл. печ. л. 17,05. Тираж 1000 экз. Изд. заказ 2049. Тип. заказ

Издательский дом «Пегас»
119146, г. Москва, Комсомольский проспект, 13

Издательский дом «Ваш полиграфический партнёр»
127238, г. Москва, Ильменский пр, д. 1, стр. 6

Отпечатано в типографии:
ООО «Ваш полиграфический партнёр»
127238, г. Москва, Ильменский пр, д. 1, стр. 6